

БАНТАСУ

ДУКЕЙМГ БРЭНЧ КЕЙББА
БҒАЗАНИҢ
О МАНУЭЛА



УДОВЕРЛИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРАВИЛЬНОСТИ

Annotation

В этом томе я не следую тексту Бюльга чересчур скрупулезно. Но надеюсь, что в книге, предназначенной для широкого круга читателей, никто не станет порицать некоторые пропуски и эвфемизмы, да впрочем, и небольшие добавления, сделанные для связности, ясности и красоты текста.

Любопытных же для обсуждения источников «Серебряного жеребца» я отсылаю к страницам «Пуактесма в песнях и легендах». И пусть они сами решат, действительно ли Бюльг, по выражению Кодмана, показал, что эти легенды являются «подделками XVII столетия». Лично я нахожу, что эти свидетельства слегка неправомерны, а для моей цели они вообще несущественны. Эти хроники, как таковые, представляют собой единственно известные материалы о последних днях героев, чьи юношеские подвиги уже давно знакомы читателям по «Пуактесмским народным былинам» Льюистама. Аутентичны они или нет и безотносительно к тому, могли ли такие легенды существовать до 1652 года, в них содержится единственный отчет о переменах, последовавших в Пуактесме после кончины Спасителя Мануэля, и другой у нас вряд ли когда-либо появится.

Этот отчет является пробелом, который, с моей точки зрения, желательно было заполнить, и я перевел «Серебряного жеребца» на английский.

Дж. Б. К.

Серебряный жеребец

(Сказания о Мануэле – 3)

(Комедия спасения)

Властители, правившие Пуактесмом во времена дона Мануэля

Десять членов Братства Серебряного Жеребца:

- 1) **Дон Мануэль, граф Пуактесмский**, владел Сторизендом и Бельгардом, городом Бовилажем и крепостью Лизуарт, а также всем Амнераном и Морвеном;
- 2) **Мессир Гонфаль Нэмский**, маркграф Арадольский, владел Верхним Нэмузенном;
- 3) **Мессир Донандр Эврский**, тан Эгремонтский, владел Нижним Нэмузенном;
- 4) **Мессир Керин Нуантельский**, синдик и кастелян Басардры, владел Западным Валь-Ардрейем;
- 5) **Мессир Нинзиян Яирский**, бейлиф Верхней Ардры, владел Валь-Ардрейем на Востоке;
- 6) **Мессир Хольден Неракский**, шериф Сен-Тара, владел Бельпейзажем;
- 7) **Мессир Анавальт Фоморский**, мэр и губернатор Манвиля, владел Бельпейзажем Ле Ба;
- 8) **Мессир Котт Горный**, ольдермен Сен-Дидольский, владел О Бельпейзажем;
- 9) **Мессир Гуврич Пердигонский**, гетман Ашский, владел Пьемонтэ;
- 10) **Мессир Мирамон Ранекский**, сенешаль Гонтарона, владел Дуарденуа.

Существовали также фьефы дона Мёньера, графа Монторского, свояка дона Мануэля. Мёньер не принадлежал к этому Братству, он владел Жьеном, а Нижним Дуарденуа правила его супруга.

Отмар Чернозубый, которого некоторые называли Отмаром Беззаконным, долгое время владел Вальнером и Огдом, пока его не разбил Мануэль; впоследствии эти деревни с большей частью Бовьона оставались бесхозными.

Гельмас Глубокомысленный, после наложения на него чар в 1255 году, владел по-своему возвышенностью Брунбелуа. Но остальной Акаир, когда была захвачена Лорча и сожжен Склауг, оставался ничейной землей. На Верхнем Морвене также жили весьма нелояльные личности, бросавшие вызов любому закону и благочестию.

«Пуактесм в песнях и легендах»,

Г. И. Бюльг. Страсбург, 1785, (с. 87-88).

* * *

Сим начинается история зарождения и триумфа великой легенды о Спасителе Мануэле, коего Гонфаль считал развешанным прахом, а Мирамон – самозванцем и коего Котт отказывался признавать из-за своей любви к истине. Но коего принимал Гуврич посредством двух разновидностей благоразумия; коего Керин принимал в качестве заслуживающего уважения недостатка, а Нинзиян – в качестве трогательной и полезной шутки; коего Донандр принимал всем сердцем (к вечной радости Донандра) и коий к тому же был принят Ниафер и ростовщиком Юргеном с небольшими оговорками личного характера. И ниже

описывается, как эти люди оказались поглощены сей великой легендой.

Книга Первая

Последняя осада Братства

*«Вот, я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех
окрестных народов, и также для Иуды во время осады
Иерусалима.»*

Захария, 12, 2

– Et la route, fait eile aussi un grand tour?

*– Oh, bien certainement, e'tant donne qu'elle circonviert a la fois la
destinee et le bon sens.*

*– Puisqu'il faut, alors! dit Jurgen; d'ailleurs je suis toujours dispose
gouter n'importe quel breuvage au moins une fois.*

«La Haulte Histoire de Jurgen»

Глава I

Уста младенца

Рассказывают о том, как дон Мануэль, который являлся возвышенном графом Пуактесмским и повсеместно расценивался как самый удачливый и наименее щепетильный мошенник своего времени, исчез из своего замка в Сторизенде без всякого повода и предупреждения в праздничный день Святого Михаила и Всех Ангелов. Рассказывают также о смятении и испуге, поднявшихся в краях дона Мануэля, когда стало известно, что Спаситель Мануэль, названный так потому, что спас Пуактесм от ига норманнов с помощью Мирамона Ллуагора и его великой, кровавой магии, исчез совершенно необъяснимо из этих краев.

Куда ушел Мануэль, ни один человек не мог сказать с полной определенностью. В Сторизенде последней его видела младшая дочка Мелицента, заявившая, что папа, сев на черного коня, отправился на запад вместе с Дедушкой Смертью, скакавшем на белом коне, в какой-то далекий край по ту сторону заката. В целом это казалось совершенно невероятным.

Однако дальнейшие расследования лишь еще больше углубили тайну исчезновения дона Мануэля. Дальнейшие расследования раскрыли, что единственным человеком, видевшим (или притворявшимся, что видел) дона Мануэля после того, как Мануэль покинул Сторизенд, был маленький мальчик по имени Юрген, сын Котта Горного. Юный Юрген, получив от отца во всех отношениях необычайную порку, убежал из дома, и его не могли поймать до следующего утра. Этот паренек сообщил, что в сумерках на Верхнем Морвене он стал свидетелем страшного причастия, в котором весьма ужасным образом участвовал Спаситель Пуактесма. Потом, гласил рассказ мальчика, последовало некое преображение, и предсказание относительно будущего Пуактесма, и вознесение дона Мануэля в облагранные лучами заката облака...

Эти последние подробности при первом рассказе Юрген пробормотал почти нечленораздельно. Ибо сразу после вводных пассажей предполагаемого романа родители Юргена, находясь в восторженном состоянии по случаю обнаружения потерянного сокровища, конечно же, в типичной манере родителей обратились к таким нравственным высотам и прибегли к таким телесным наказаниям, кои бедственно повлияли на рассказы предполагаемого лжеца. Затем, по прошествии нескольких дней, когда в Пуактесме все еще тщетно ждали возвращения великого дона Мануэля, ребенка посчитали необходимым допросить вновь. И маленький Юрген, подувшись немного, пересказал историю без заметных изменений.

Определенно, все звучало весьма невероятно. Тем не менее это было единственным объяснением утраты, предложенным кем бы то ни было. И люди начали наполовину всерьез относиться к нему с должным вниманием. Говорите что хотите, но сей незрелый, отшлепанный евангелист рассказал историю, изобилующую подробностями, которые ни один мальчик его возраста, по-видимому, не смог бы придумать сам. Поэтому множество людей начало мудро ссылаться на уста младенцев и многозначительно кивать. Более того, ребенок, допрошенный еще раз, распространился о последнем предсказании Мануэля относительно будущей славы Пуактесма, что делало неверие довольно-таки непатриотичным. И Юрген сделал еще более ужасной свою историю о том, как Мануэль спас свой народ от причитающихся наказаний за разнообразные грехи, совершенные до того вечера исключительно.

Следующий из этого вывод, что повсюду вплоть до сего дня можно не нести ответственности за свои проступки, среди которых дон Мануэль взял на себя труд придать особый характер таким неблагоприятным деяниям, как гуляние по ночам без разрешения родителей, являлся договоренностью, которую все, при ближайшем рассмотрении нашли весьма желательной. Добросердечные люди повсюду начали (в сущности свободно выбирая между верой и недоверием) предпочитать вложение наверняка выгодного доверия в историю, рассказанную с таким убеждением этим милым, незапятнанным грехом ребенком, нежели в доводы придурков-материалистов, которые, в конце концов, могли лишь говорить (находясь вдали от Котта Горного), что этот юный Юрген впоследствии, похоже, отличится или на кафедре, или на виселице.

Между тем один прискорбный факт в любом случае оставался неопровержимым: сказание об этом тихом, преуспевшем в свое время архиворе Мануэле закончилось непоследовательными, а то и

невероятными историями этих двух детей. И могучий, косой и седой Мануэль с высоко поднятой головой ушел из Пуактесма неизвестно куда.

Глава II

Расчетливость Горвендила

А между тем жена Спасителя, госпожа Ниафер, призвала к себе девятерых властителей, которые вместе с доном Мануэлем образовывали Братство Серебряного Жеребца. И все они встретились в Сторизенде, как приказала им Ниафер, на заседании, или, как более формально это называли, при осаде, предпринятой этим орденом.

Братство вело свое название от знамени, под которым так опустошительно сражалось. На этом черном знамени был изображен серебряный жеребец, вставший на дыбы и взнузданный золотой уздой. Дон Мануэль являлся предводителем этого братства, состоявшего, кроме него, из девяти баронов, которые под началом Мануэля правили Пуактесмом. У каждого из них было по два великолепно укрепленных замка, а также прекрасные лесные угодья и луга, которыми они владели, приняв присягу на верность дону Мануэлю. И каждый из них славился своей доблестью.

Четверо из этих добродушных убийц служили под командованием графа де Тохиль-Вака еще в первой, крайне разрушительной кампании Мануэля против норманнов. Но все девять баронов были с Мануэлем со времени великой битвы при Лакре-Кае и на протяжении разнообразных неприятностей, возникавших у Мануэля с Орибером, Фрагнаром, графом Ладиномасом, Склаугом и Ориандром – этим слепым и безучастно злым Пловцом, являвшимся отцом Мануэля. И во всех остальных сражениях Мануэля эти девять баронов были с ним до самого конца.

А деяния властителей Серебряного Жеребца не далеко ушли от собственноручных деяний Мануэля. Разумеется, Ориандра убил именно Мануэль – это являлось делом семейным. Но Мирамон Ллуагор, сенешаль Гонтарона, был героем, подчинившим себе Фрагнара и наделившим его отличительными чертами, создававшими помехи его действиям. И именно Керин Нуантельский – синдик, а впоследствии кастелян Басардры – взял в плен и старательно сжег Склауга. Затем во время подавления бунта Отмара Чернозубого Нинзиан Яирский, бейлиф Верхней Ардры, убил на одиннадцать мятежников больше, нежели поразил меч Мануэля. Именно Гуврич Пердигонский, а не Мануэль, лишил жизни великого араба Аль-Мотаваккиля. А в знаменитой битве с монголами, в результате которой была освобождена Мегарида, именно Мануэль завоевал львиную долю славы и, как говорят, на три ночи – обладание телом младшей сестры короля Теодорета. Но сведущие люди заявляют, что лучше всех в тот день дрался Донандр Эврский, тогда всего лишь мальчишка, которого Мануэль впоследствии сделал таном Эгремонским.

Однако Хольден Неракский, шериф Сен-Тара, был храбрее всех и был способен взять верх в единоборстве с любым из перечисленных выше. Котт Горный никогда не покидал поле брани побежденным, а учтивый Анавальт Фоморский и беспечный Гонафаль Нэмский, обладавшие самой дурной славой в этой компании, будучи друзьями и коварными совратителями женщин, также повергали своих соперников наземь в изрядных количествах.

Одним словом, неважно, где властители Серебряного Жеребца поднимали свое знамя против врагов: именно там они и обрекали этих врагов на гибель. Ибо никогда, во все времена, не существовало более суровой шайки забияк, чем Братство Серебряного Жеребца в те дни, когда они сотрясали землю лязганьем мечей и затмевали небеса дымом разграбленных городов и когда по всему миру люди рассказывали о чудесах, творимых этими героями, под предводительством дон Мануэля. Теперь же они остались без вождя.

И вот герои съехались в Сторизенд. А вместе с госпожой Ниафер они, конечно же, встретили Святого Гольмендиса. Этот блаженный совсем недавно прибыл из Филистии, чтобы утешить графиню в ее горе. Но они также обнаружили при ней того молодого рыжеволосого Горвендила, в качестве вассала которого дон Мануэль, в свою очередь, владел Пуактесмом, но условия этого договора так никогда и не были обнародованы. Некоторые говорили, что этот самый Горвендил – друг и посланник Сатаны, тогда как другие заявляли, что его происхождение таится в более языческой мифологии. Все знали, что юноша владеет поразительно странной магией, неизвестной Мирамону Ллуагору и Мудрецу Гувричу.

И этот самый Горвендил сказал девяти героям:

– Сейчас Братство Серебряного Жеребца начинает свою последнюю осаду.

Донандр Эврский был из них самым молодым. Однако он заговорил вполне благочестиво и отважно:

– Но мы привыкли, мессир Горвендил, начинать каждую осаду с молитвы.

– Эта осада, – ответил Горвендил, – тем не менее должна начаться без подобных религиозных мероприятий. Ибо это осада, при которой, как и предрекалось, вы станете чашею исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима и Фив, Гермополя, Аваллона, Брейдаблика и всех остальных мест, производящих Спасителей.

– Клянусь честью, но я не понимаю, кто здесь господин! – воскликнул Котт Горный, крутя длинный нос. Этот жест являлся верным знаком предстоящих неприятностей.

Горвендил ответил:

– Господин, правивший Пуактесмом в соответствии с моими прихотями, скончался. На его месте сидит женщина, а его наследник – маленький ребенок. Так что начинается новый роман, затевается новый орден.

– Однако Котт в своих неустанных поисках разнообразия задал вполне разумный вопрос, – сказал Гонфаль, могучий маркграф Арадольский. – Кто будет нами командовать, кто теперь даст нам указания? Или на войну нас поведет госпожа Ниафер?

– Это разные вещи. Командует госпожа Ниафер, но именно я, раз уж вы спросили, выдам вам все указания и к тому же приговоры и время их свершения, а после этого я дам жизнь вашим именам. В общем вам, Гонфаль, я указываю на юг.

Гонфаль посмотрел на Горвендила с искренним удивлением.

– Я уже собирался отправиться на юг, хотя определенно, никому об этом не говорил. Вы, мессир Горвендил, выказываете поражающую меня мудрость.

Горвендил ответил:

– Это лишь дар предвиденья, который я разделяю с Валаамовой ослицей.

Но Гонфаль оставался более серьезным, чем обычно. Он спросил:

– И что я найду на юге?

– То, что все люди находят под конец жизни в том или ином месте, будь то с помощью ножа, веревки или преклонного возраста. Однако уверяю вас, эта находка не станет для вас нежелательной.

– В общем, – пожал плечами Гонфаль, – я реалист. Я принимаю приходящее в том облике, в котором оно приходит.

Тут вновь взорвался Котт Горный.

– Я тоже реалист. Однако я не позволю ни одному выскочке, будь он рыжий или нет, указывать мне какие-либо направления.

Горвендил ответил:

– Я скажу вам...

Но Котт, тряхнув лысой головой, ответил:

– Нет, меня так просто не запугаешь. Я мягкий человек, но не подчинюсь смиренно подобному шантажу. К тому же, по-моему, Гонфаль намекал на то, что я обычно задаю неразумные вопросы!

– Никто не пытался...

– Не отрицайте этого мне прямо в лицо! Эдак вы просто называете меня лжецом! Повторяю, я не подчинюсь этой непрекращающейся грубости.

– Я только говорил...

Но Котт был неумолим.

– Я не приму никаких указаний от того, кто набрасывается на меня и не сохраняет должного достоинства в час нашей скорби. В остальном дети в своих сообщениях сошлись на том, что дон Мануэль (вознесся ли он на золотое облако или ускакал, что более благоразумно, на черном коне) двигался на запад. Я отправлюсь на запад и верну дону Мануэля в Пуактесм. Я, к тому же, откровенно советую вам, когда он возвратится править нами, отбить охоту от дурачеств и причудливых увлечений у всех людей, чьи мозги перегреты их волосами.

– Тогда пусть запад, – очень тихо сказал Горвендил, – станет вашим направлением. И если люди там не найдут вас таким большим человеком, каким вы себя мните, не вините в этом меня.

Это была речь Горвендила слово в слово. Много позднее сам Котт гадал, не совпадение ли это...

– Я, мессир Горвендил, с вашего позволения отправлюсь на север, – сказал Мирамон Ллуагор. Кудесник единственный из всех находился с Горвендилом в близких отношениях. – У меня еще остается на сером Врейдексе Подозрительный Замок, в котором меня ждет известная судьба.

– Верно, – ответил Горвендил. – Пусть жестокий Север и холодное лезвие Фламбержа принадлежат вам. Но вы, Гуврич, в качестве своего направления примите теплый, мудрый Восток.

Такая участь не была воспринята с радостью.

– Мне достаточно уютно у себя дома в Аше, – сказал Мудрец Гуврич. – Вероятно, как-нибудь... Но, на самом деле, мессир Горвендил, у меня в настоящее время в работе большое количество важных чудес! Ваше предложение расстраивает все мои планы. У меня нет никакой необходимости в путешествии на Восток.

– Со временем вы узнаете эту необходимость, – сказал Горвендил, – и охотно ей подчинитесь, и охотно встретитесь лицом к лицу с самым жалким и ужасным из всего существующего.

Мудрец Гуврич ничего не ответил. Он был слишком мудр, чтобы спорить с людьми, рассуждающими настолько глупо. И он был слишком мудр, чтобы спорить с Горвендилом.

– Однако при этом, – заметил Хольден Неракский, – направления исчерпаны. И для остальных из нас направлений не осталось.

Горвендил взглянул на Хольдена, по праву звавшегося Смелым, и улыбнулся.

– Вы, Хольден, уже приняли тайные указания в живописной манере от одной царицы...

– Давайте не будем об этом говорить, – сказал Хольден с фальшивой улыбкой весьма встревоженно.

– ...И, в любом случае, вас будет сопровождать она, а не я. Вас, Анавальт Фоморский, тоже вскоре настойчиво позовет еще одна царица, и вы, по праву называемый Учтивым, не откажете ей ни в чем. Так что Хольдену и Анавальту я не дам указаний, поскольку невежливо препятствовать женщине и ее просьбе.

– Но у меня, – сказал Керин Нуантельский, – у меня в Огде молодая жена, которую я ценю выше всех женщин, на которых я когда-либо женился, и намного выше каких-то там венценосных цариц. Даже мудрого Соломона, – сообщил им, прищурившись, Керин со своеобразным тихим восторгом ученого мужа, – когда этот иудей подбирал женщин в сем мире, не сопровождала царица, подобная моей Сараиде. Ибо она во всех отношениях превосходит то, что каббалисты пишут о царице Нааме, этой благочестивой дочери кровожадного царя Аммона, и о царице Джараде, дочери идолопоклонника египтянина Нубары, и о царице Билкис, рожденной Сабейским князем и женщиной-джинном в облике газели. И лишь по приказу своей дорогой Сараиды покину я свой дом.

– Вы тем не менее очень скоро покинете дом, – заявил Горвендил. – И это произойдет по приказу и по личному побуждению вашей Сараиды.

Керин склонил голову набок и вновь прищурился. Он владел трюком дон Мануэля, при размышлениях вот так открывая и закрывая глаза, но кроткий взгляд темных глаз Керина очень мало напоминал мануэлево пронизательное, ясное и весьма осторожное рассмотрение дел.

Затем Керин заметил:

– Однако, как сказал Хольден, все направления уже заняты.

– О, нет, – сказал Горвендил. – Ибо вы, Керин, отправитесь вниз, туда, куда за вами никто не посмеет последовать и где вы наберетесь мудрости, чтобы не спорить со мной и не докучать людям непрошенной эрудицией.

– Из вашей логики следует, что я, – засмеялся Донандр Эврский, – должен отправиться вверх, к самому Раю, так как больше направлений не остается.

– Похоже, – ответил Горвендил, – это верно. Но вы окажетесь намного выше, чем думаете, а ваша судьба будет самой странной из всех.

– Тогда должен ли я удовлетвориться некой второсортной, заурядной гибелью? – спросил Нинзиян Яирский, единственный член братства, еще не вступавший в разговор.

Горвендил посмотрел на благочестивого Нинзияна и смотрел он долго-предолго.

– Донандр – довольно набожный человек. Но без Нинзияна Церкви будет не хватать прочнейшего и по-настоящему богобоязненного столпа, который есть у нее в этих краях. Это было бы чертовски неудачно. Посему указание вам – оставаться в Пуактесме и на благо мира утверждать поучительный и прекрасный девиз Пуактесма.

– Но девиз Пуактесма, – с сомнением сказал Нинзиян, – «Mundus vult decipi», и он означает, что мир хочет быть обманут.

– Это высоконравственная мысль, которую, уверен, вы признаете и доказываете. Поэтому для вас, такого благочестивого, я слегка перефразирую Писание; и я заявляю вам всем, что больше не сдвину ноги Нинзияна с земли, которую определил вашим детям; так что они будут внимать всему, что я им прикажу.

– Это, – сказал Нинзиян, которому было заметно не по себе, – весьма очаровательно.

Глава III

Как оплакивал Спасителя Анавалът

Затем поднялась госпожа Ниафер, в черном платье и с ввалившимися глазами, и она произнесла заупокойную речь по дону Мануэлю, которому по доброте, чистоте души и мягкости характера не осталось, по ее словам, равных в сем мире. Это был панегирик, от которого все присутствующие воины стали весьма серьезными и очень взволнованными, поскольку осознавали и разделяли ее горе, но не вполне узнавали описываемого ею Мануэля.

И Братство Серебряного Жеребца заявило о своем роспуске, поскольку закон Пуактесма гласил, что всегда и все там считалось десятками. Но не существовало ни одного воина, который был бы способен занять место Мануэля. А братство с девятью членами, как указала госпожа Ниафер, являлось незаконным.

– Однако может быть, – предложила она, косясь на Горвендила, – что какой-нибудь другой, особо святой человек, хотя и не воин...

В тот же миг Котт сказал с пугающей решительностью:

– Вздор!

Его собратья ощутили явную неучтивость этого вмешательства, но к тому же ощутили и то, что согласны с Коттом. И вот так братство было объявлено распущенным.

Затем заупокойную речь по поводу кончины этого благородного ордена, чьи ряды поредели, произнес Анавалът Фоморский, и Анавалът также оплакивал Дона Мануэля, восхваляя его дерзость и храбрость, внушавшие в битвах страх его врагам. Герои кивнули в знак согласия с такими вразумительными речами.

– Мануэль, – сказал Анавалът, – был дерзок. Ни одному сопернику не стоило его задирать. Когда совершался такой безрассудный поступок, Мануэль превращался в змея, обвиняющего вражеский город: он захватывал предместья, скот и лодки на реках. Он осаждал город со всех сторон, он поджигал сады, он останавливал мельницы, он не давал пахарям пахать землю. И люди в этом городе голодали, и они ели друг дружку, пока выжившие не решались сдаться дону Мануэлю. Тогда Мануэль воздвигал виселицы, высовывал палачей и выживших среди этого народа больше не оставалось.

И Анавалът также сказал:

– Мануэль был хитер. С помощью какого-то пера он обманул трех королей, но королев, которых он разыграл, было намного больше трех, да и надувал он их далеко не перьями. Никто не мог провести Мануэля. Желаемое он брал, если мог, своей сильной рукой, а если нет, то использовал свою мудрую голову и ленивый, лстивый язык, да и остальные члены тоже, так что человек, которого он вводил в заблуждение, давал Мануэлю все требуемое. Считалось, что быть обманутым Мануэлем – все равно что напиться меду. Думаю, рядовому человеку не делает чести быть великим мошенником, но вождь должен знать, как обманывать людей.

Затем Анавалът сказал:

– Мануэль был страшен. В нем не было ни мягкости, ни колебаний, ни жалости. В рядовом человеке это тоже не является добродетелью, но в вожде это вполне может быть благословенно. Мануэль так вел дела, что ни один противник не беспокоил Пуактесм вторично. Он правил нами как тиран, но лучше иметь одного господина, которого знаешь, чем вечно менять господ в мире, где лишь сумасшедшие резвятся по собственной воле. Я не плачу по Мануэлю, поскольку он никогда бы не плакал по мне или кому-либо еще. Но я сожалею об этом железном человеке и о защитнике, которого потеряли мы, сделанные не из железа, а из простой плоти.

Воцарилось молчание. Однако по-прежнему герои с серьезным видом кивали: в словах Анавальта это был Мануэль, которого они все узнали.

Впрочем, госпожа Ниафер чуть приподнялась со своего кресла, когда благочестивый изможденный

Святой Гольмендис, сидевший рядом с ней, протянул к ней руку. После этого она ничего не сказала, однако было совершенно ясно, что, по мнению графини, Анавальт восхвалял Мануэля не за те добродетели.

С требуемыми церемониями был зажжен огонь. Знамя великого братства сожгли, и властители Серебряного Жеребца сломали свои мечи и бросили обломки в огонь, чтобы эти мечи никогда не могли защищать цвета какого-либо иного флага. Когда погас огонь, погибла юность этих девяти мужчин и первый пыл, и первая вера их юности; и они это знали.

Затем герои покинули Сторизенд. Каждый поехал к себе домой, и они приготовились, каждый по-своему, к новому порядку правления, который с уходом Мануэля устанавливался в Пуактесме.

Глава IV

Поднимающийся туман

Гуврич, Донандр и Гонфаль ехали на Запад вместе со своими слугами одной компанией до дома Гуврича в Аше. И пока эти три властителя ехали среди печальной ноябрьской природы и сгущающегося тумана, они вели беседу.

– Жаль, – сказал Гонфаль Нэмский, – что пока подрастает наш маленький граф Эммерик, этот край должен управляться хромой и болезненной особой, у которой никогда не было мозгов и которая уже начинает командовать. С другой стороны, в краю, которым правит вдова, привыкшая к определенным развлечениям, можно найти и забаву, и выгоду.

– Полно, – сказал верноподданный Донандр Эврский, – госпожа Ниафер – целомудренная и праведная женщина, преисполненная благих намерений.

– У нее есть еще одно качество, которое в правителе любой страны даже более ужасно, – ответил Мудрец Гуврич.

– И какой же повод для цинизма вы нашли теперь?

– Боюсь, скорее чрезмерное благочестие, нежели ее посредственная внешность и дурацкие благие намерения. Эта женщина повсеместно превратит все в сплошные серые развалины.

– На самом деле, – с улыбкой сказал Гонфаль, – этот поднимающийся туман мне очень напоминает церковные курения.

Гуврич кивнул.

– Да. Я считаю, что, будь это возможно, госпожа Ниафер сохранила бы и осквернила братство, поставив на место дона Мануэля этого святого Гольмендиса, который ныне является ее поводырем во всех духовных вопросах и который вскоре – обратите внимание на мое пророчество! – поставит во главу угла ее государственной политики ханжество.

– Хорошо известно, что именно он сочинил для нее, – сказал Гонфаль, – те стенания по дону Мануэлю.

– Каталог проповеднических добродетелей, – сухо сказал Гуврич, – который мне не сразу напомнил хвастливого прелюбодея и отцеубийцу, которого мы все знали. Таким образом, этот самый Гольмендис уже ввел в моду лицемерие.

– Он станет главным советником Ниафер, – вслух размышлял Гонфаль. – Он напористый и энергичный малый. Интересно...

Гуврич вновь кивнул.

– Женщины предпочитают получать советы в спальне, – заявил он.

– Полно, Гуврич, – вставил благочестивый Донандр Эврский. – Полно, каким бы чересчур милосердным ни было его мнение о нашем покойном господине, этот Гольмендис – святой. И мы, истинно верующие, не должны говорить о святых дурно.

– Я ничего не имею против веры, да и против лицемерия тоже – в разумных пределах. И я ничего не имею против святых, когда они на своем месте. Только если святой, и особенно зачатый, вскормленный и возведенный в этот ранг в Филистии, начнет когда-либо править в Пуактесме и в спальне дона Мануэля, – задумчиво сказал Гуврич, – этот святой не будет находиться на своем месте. А наш век, мои друзья, подойдет к концу.

– Он уже подошел к концу, – сказал Гонфаль, – насколько это касается Пуактесма: этот туман слишком сильно пахнет ладаном. Но туман, поднимающийся над Пуактесмом, не покроев всю землю. Лично я отправлюсь на Юг, как указал мне Горвендил и как я уже сам задумал. На Юге я не найду никого настолько забавного, как этот прекрасный, великий, косой, тихий негодяй Мануэль. Однако на Юге объявлен конкурс на соискание руки Морвифи – смуглой царицы Инис-Дахута. И теперь, когда моя жена умерла, я,

возможно, найду забавным спать с этой юной царицей.

Остальные рассмеялись и перестали думать о легкомысленном бахвальстве этого самого Гонфаля, который был всемирно знаменитым повесой.

Но в течение месяца стало известно, что Гонфаль Нэмский, маркграф Арадольский, действительно оставил свои владения и отправился на Юг. И он стал первым из членов этого великого братства (после дона Мануэля), ушедшим из Пуактесма и больше никогда туда не вернувшимся.

Книга Вторая

Математика Гонфаля

«... И безрассудно расточает слова».

Иов, 35, 16

Глава V

Несчастный случай с героем

Теперь история о том, как Гонфаль странствовал на Юге, где жили Фундаменталисты. Рассказывается, как был объявлен конкурс и как, в стиле тех дней, рука Морвифи – смуглой царицы Инис-Дахута и остальных четырех Чудесных Островов была обещана герою, который принесет сокровище, наиболее ценное для нее в качестве свадебного подарка. Говорят, что к жертвеннику Пиге-Иписизига принесли восемь мечей, чтобы их надлежащим образом после краткого и откровенного ритуала освятил имам Булоту. Восемь соответствующе пылких влюбленных высоко подняли мечи и присягнули на верность царице Морвифи и поискам, наградой за которые станет ее красота.

Таким образом, все шло как и следовало до тех пор, пока влюбленные не стали вкладывать мечи в ножны. Тут один герой из этой компании совершенно необъяснимо толкнул локтем своего соседа и по несчастью уронил меч, пронзивший его левую ногу.

Затем на узких улочках и на бронзовых и изразцовых крышах затрубили трубы, и семеро просителей руки царицы Морвифи надели доспехи и отправились в течение года и одного дня лишать мир его главных богатств.

Не поехал же с остальными Гонфаль Нэмский. В самом деле, прошло три месяца, прежде чем его рана была залечена и он смог вставлять ногу в стремя. Но к этому времени, как он с сожалением рассудил, богатства мира должны были быть уже собраны с такой тщательностью, что какому-то калеке едва ли стоило куда-либо ковылять и выставлять себя на посмеище бесчувственным чужеземцам. Его боль (признавался он) при таком суровом повороте фортуны была почти невыносима. Однако ничего не достигнешь, закрывая глаза на очевидные факты, а Гонфаль являлся (в чем он тоже признался) реалистом.

Таким образом, Гонфаль оставался при дворе на протяжении всего года и безмятежно жил на варварских Чудесных Островах. Гонфаль устроился далеко не роскошно, но уютно, тогда как все его соперники искали приключений на лугах, изобилующих магией, и поднимались на горы, превосходившие всякое правдоподобие, в краях, весьма благоприятных для невообразимого. Но, похоже, достаточным утешением для Гонфаля являлось то, что он сидел, все чаще и чаще, рядом с царицей.

Однако маркграф Арадольский единственный из поклонников Морвифи был уже немолод. Зрелость, по-видимому, овладевала своего рода умением в обращении с разочарованием и урегулировала проблему сравнительно легко. И поэтому (рассуждала царица Морвифь) маркграф Арадольский, вероятно, мог нести крест негероического спокойствия, даже при его естественном отчаянии, что он теперь потерял всякую надежду добиться ее руки, с большей стойкостью, нежели любой из остальных.

Кроме того, остальным еще нужно было добиться знаменитости, их подвиги пока оставались блистательными, но неопределенными магнитами, притягивающими их к будущему. Но этот самый Гонфаль, появившийся на Инис-Дахуте после такой примечательной службы под командованием Мануэля Пуактесмского и под непобедимым знаменем Серебряного Жеребца, в свое время, как знала молодая Царица, участвовал в восьми военных кампаниях при достаточном количестве легкой партизанщины. Он убил приличное число драконов, захватчиков и великанов-людоедов и к тому же несколько лет назад женился на златовласой, звездноглазой и лебединошей принцессе, являвшейся обычной наградой каждого героя за его отчаянную храбрость.

Теперь, в полдень Гонфалева дня, при покойной принцессе и всех потерянных королевствах, которые он с ней делил при его сюзерене графе Мануэле, тоже ушедшем из этого мира, и знамени Серебряного Жеребца, цвета которого больше никто не защищал, теперь этот высокий Гонфаль расхаживал на Инис-Дахуте слегка в стороне от своих коллег. Однако бородатый мужчина к тому же расхаживал с улыбкой, как человек, забавляющийся игрой, которая, по его мнению, не очень важна. Ибо он, по его словам, реалист, даже на варварских Чудесных Островах.

А Морвифь, смуглую царицу пяти Чудесных Островов, раздражали добродушные подшучивания ее меланхоличного поклонника. Она этого не любила; она выбросила из головы вопрос, похоже, совершенно

невероятный, огорчен ли этот мужчина своей безнадежной страстью или чем-то еще в отношении нее. Но этот вопрос возвращался к ней, и Морвишь привычным легким и прелестным жестом поправляла волосы и вновь шла переговорить с Гонфалем, чтобы разрешить частным образом и для собственного удовлетворения эту проблему. Кроме того, у этого мужчины были довольно приятные глаза.

Глава VI

Власть взаимны

По прошествии года, когда ласковый, но настойчивый апрельский ветер вновь подул с Юга, герои вернулись – каждый со своим сокровищем. Каждый принес Морвифи свадебный подарок такой же удивительный, какими являлись и приключения, посредством которых он был приобретен. И все эти приключения были до невероятности сверхъестественными.

На самом деле, как заметила Царица в частной беседе, рассказы претендентов едва ли были правдивы.

– Однако, по-моему, этот жизнеутверждающий эпос основывается на фактах, – ответил Гонфаль. – Каждый из этих людей хитрый и непригожий младший, третий королевский сынок. Существует закон, согласно которому подобные непредубежденные карлики должны преуспеть и попать разнообразнейшее зло на Чудесных Островах и во всех остальных потусторонних краях.

– Но разве честно, мой друг, и разве уважительно по отношению к величественным, освященным веками силам зла, что эти молокососы?..

Гонфаль же ответил:

– Никто не спорит, уверяю вас, что подобные легкие состязания вполне благородны. Тем не менее они являются прерогативой третьего сына короля. Так что, будучи реалистом, сударыня, я волей-неволей признаю, что фортуна в здешних краях смотрит на этих третьих сыновей с натужно одобрительной ухмылкой. Даже лисы и муравьи, печи и метловища откладывают в сторону свою обычную неразговорчивость, чтобы облагодетельствовать этих августейших отпрысков бесценным советом. Смею сказать, что все великаны и трехглавые змеи должны противостоять им, наполовину ощущая вину за совершение самоубийства. А на каждом повороте дороги их ждет очаровательная златокудрая принцесса.

Не все из этих трюизмов показались взгляду темных глаз Морвифи удовлетворительными.

– Блондинки быстро стареют, – сказала Морвифь, – и я царица.

– Верно, – признался Гонфаль. – Я не уверен, что любой третий принц преуспеет в общении с царицей. Мне не приходит по этому поводу на ум ни один авторитет.

– Мой друг, нет сомнения, что эти бесстрашные герои преуспеют повсюду. А у меня совсем другая забота – решить, кто из них принес самое ценное сокровище, достойное стать свадебным подарком.

Гонфаль надул необычайно алые и нежные на вид губы. Он какое-то время внимательно смотрел на царицу, и при этом у него было странное выражение лица, как у человека, разглядывающего нечто забавное, но совершенно несущественное.

– Сударыня, – сказал затем Гонфаль, – я бы смог выбрать самое ценное сокровище. Чтобы быть самой ценной, вещь должна в первую очередь быть самоценна.

Тонкие брови Морвифи поднялись при этих словах.

– Но на этом столике из черного дерева, мой друг, находится могущественная магия, которая управляет всеми богатствами мира.

– Не оспариваю этого. Я просто дивлюсь, будучи, вероятно, непрактичным реалистом, как такое богатство может считаться подарком, когда, по большому счету, это лишь ссуда – нечто, данное на время.

– Так расскажите же мне, – приказала Морвифь, – что это значит!

Но Гонфаль, прежде чем ответить, какое-то время рассматривал трофеи, являющиеся добычей героизма его более молодых и энергичных соперников. Эти трофеи, в самом деле, были достаточно примечательны.

Здесь, к примеру, лежал добытый из огнедышащей сердцевины ужасного семистенного града Ланхи суетливым принцем Лорнским Хедриком после бесконечного числа выдающихся подвигов тот самый агат,

который в давно минувшие времена оберегал могущество древних императоров Македонии. На этом странном камне виднелись обнаженный мужчина и девять женщин, прорисованные жилами агата. И этот агат обеспечивал своему владельцу победу в любой битве. Войска варварских Чудесных Островов были бы способны по первому зову патриотизма или религиозной веры опустошить или ограбить самые богатейшие царства в этой части света, если б Морвишь выбрала этот агат в качестве свадебного подарка.

Но, однако, Гонфаль, отложив камень в сторону, с грустью произнес лишь одно слово: «Бунхум!» – на каком-то чужеземном языке, которым овладел во время своей карьеры странствующего рыцаря.

Затем Гонфаль взглянул на оникс. Это был оникс Тоссакена. Его владелец обладал силой, способной вытянуть из кого угодно душу, даже из самого себя, и заточить эту душу внутрь полого оникса. И владелец камня мог, между прочим, беспрепятственно пройти куда угодно.

За мрачным мерцанием оникса виднелся зеленый блеск изумруда, на котором были выгравированы лира и три жука, а также дельфин и бычья голова. Никакие неудачи и несчастья не могли войти в дом, где находился этот Самосский самоцвет.

Но ярчайшим из всех заколдованных камней, разложенных на столике из черного дерева, был бриллиант Лунед, обладатель которого мог по своему желанию становиться невидимым. И этому Кимрскому чуду Гонфаль отдал должное, пожав плечами.

– Этот бриллиант, – сказал затем Гонфаль, – есть дар, который рассудительный человек мог бы верноподданно предложить своей царице, но едва ли будущей жене. Я говорю, сударыня, как вдовец. И уверяю вас, что принца Оркского Дуневаля мы можем скинуть со счетов как чересчур пылкого любителя опасности.

Морвишь подумала, что с его стороны это очень умно, дурно и цинично, но улыбнулась и ничего не сказала. А Гонфаль дотронулся до подарка напыщенного маленького Торньи Вижуаского. То был серый сидерит, который при погружении в проточную воду и надлежащих жертвоприношениях говорил тонким детским голоском все, что желал узнать его владелец. Военные и государственные тайны всех времен и народов, тайны ремесел и торговли становились известны обладателю серого сидерита.

Гонфаль осторожно дотронулся до лунного камня Наггар-Туры, режущей кромки которого не могло выдержать ни одно вещество, так что прочные двери вражеской сокровищницы или стены укрепленного города можно было разрезать этим самоцветом, как ножом яблоко.

Однако равным образом сверхъестественным, но в другом роде, был сосед лунного камня – сияющий алым самоцвет с фиолетовыми полосками. Все необходимое для гарантии успешного результата любого предприятия было высечено на этом камне и проявлялось утерянной краской под названием тингарибин. Для обладателя этого камня – осколка, как свидетельствуют самые уважаемые заклинания, памятника, который Иаков воздвиг в Вефиле – было невозможно провалить какое-либо начинание.

Однако Гонфаль также отложил его в сторону, вновь заговорил на иностранном языке, незнакомом Морвиши. Он произнес слово: «Хохкум!»

И тогда, но не раньше, ответил Гонфаль царице Морвиши.

– Я имею в виду, – сказал он, – что своими собственными глазами видел, как тот дюжий плут, дон Мануэль, достиг вершины человеческих желаний, а потом ушел, сбив всех с толку, в никуда. Я имею в виду, что благодаря этим амулетам, талисманам и остальным самым ужасным проявлениям литомантии монарх может сохранить на более долгий срок, нежели Мануэль, множество денег, земель и всевозможной власти и может удерживать все эти прекрасные вещи десять или двадцать, или даже тридцать лет. Но никак не сорок лет, сударыня. Ибо к этому времени богатства и почести сего мира должны покинуть любого смертного, и от величайшего императора или ужаснейшего завоевателя через сорок лет останутся лишь кости в черном ящике.

И, Гонфаль также сказал:

– Таково сейчас положение Александра, когда-то владевшего этим агатом. Ахилл, обладавший сидеритом и прославившийся у стен Трои, правит не в большем царстве. А в отношении Августа, Артаксеркса и Аттилы – не будем продвигаться дальше по алфавиту – приложимы точно такие же

замечания. Эти люди очень лихо расхаживали по земле, пыл их поступков был поистине героичен, а звучание их имен стало бессмертным, словно звучание ветра. Но сорок лет прошли, и всемирная их прижизненная слава исчезла, как пыль, сдуваемая ласковым, но настойчивым ветром, который сейчас дует с Юга и приносит новую жизнь на Инис-Дахут, но ничто мертвое не оживляет. Именно так всегда должны исчезать все почести, как пыль.

Затем Гонфаль сказал:

– Именно так, своими собственными глазами, я видел, как дон Мануэль свалился с возвышения своего трона, который всепопиравший мошенник заполучил и удерживал без всякой щепетильности. И я видел, как его власть превратилась в пыль. Такие случайные триумфы справедливости, сударыня, наводят на серьезные размышления... Поэтому мне кажется, что эти господа-соискатели предлагают вам не дар, а всего лишь ссуду. Как реалист, я с должным сожалением волей-неволей считаю, что условия конкурса не выполнены.

Царица тщательно обдумала его высокопарную речь. И она посмотрела на Гонфаля с улыбкой, которая сейчас походила на его улыбку и которая, по-видимому, не совсем прямо была связана с тем низведением и приземлением, которым он занимался.

Затем Морвифь сказала:

– Верно. Ваша логика восхитительна, поскольку неопровержимо сочетает благочестие с пошлостью. На Инис-Дахуте не существует ни одного общеизвестного Фундаменталиста, да и на любом другом из Чудесных Островов тоже, который бы посмел оспорить то, что богатства сего мира – лишь ссуда, поскольку это доктрина Пиге-Ипсизига и всех даровитых вероучений. Эти деловитые, напористые, уродливые паразиты, нахально разъезжавшие по свету и повсюду делавшие все по-своему, оскорбили меня. По праву, – сказала царица, довольно-таки уверенно, – по праву мне следует отрубить им головы?

– Но эти героические отпрыски – принцы, сударыня. Таким образом, удовлетворение вашего естественного возмущения привело бы к войне с их отцами. А ввязываться в семь войн, подсказывает моя логика, было бы весьма неудобно.

Морвифь поняла справедливость его слов и сказала со слабым вздохом:

– Отлично! Я одобряю вашу математику. Я прощу их наглость с великодушием, подобающим царице. И я продлю конкурс еще на один год и на один день.

– Это, – оценил решение Гонфаль, по-прежнему странно улыбаясь, – будет прекрасно.

– И кроме того, – добавила она, – у вас появится шанс вместе с остальными!

– Это, – согласился Гонфаль без следа улыбки или какого-либо другого проявления энтузиазма, – также великолепно.

Но Морвифь улыбнулась, привычным жестом поправляя волосы. И она послала за семерыми героями-поклонниками и поговорила с ними, как она выразилась, начистоту.

Глава VII

Второй удар рока

Итак, все началось заново. Лица у героев недоуменно вытянулись, а простой люд был разочарован, упустив бесплатные развлечения, сопутствующие царской свадьбе. Но священнослужители, уважаемые миряне и знатные налогоплательщики рукоплескали решению царицы Морвифи как самому великолепному образцу поведения в такие смутные дни бездуховного материализма.

Так что вновь восемь поклонников Морвифи встретились в соборе, чтобы их мечи должным образом освятил имам Булоту. И этот благодетельный и по праву любимый всеми старый священник, перерезав горло трем избранным мальчикам, начал церемонию с молитвы Пиге-Ипсизигу – Тому, чьи превращения сокрыты во всех храмах, опекаемых самыми уважаемыми людьми, сказав, как требовали обычай и вежливость:

– Высота тверди подвластна Тебе, о Пиге-Ипсизиг! Твой престол так высок! Узоры на седалище твоих голубых шаровар суть яркие звезды, что никогда не меркнут. Каждый человек совершает подношения той части Тебя, которая открыта, и Ты есть Сидящий Хозяин, которого помнят на небесах и на земле. Ты есть сияющее благородство, сидящее выше всех благородных, Ты постоянен на Своем высоком месте, Ты утвержден в Своей неумолимой верховной власти и Ты – каллипигейный Князь Сообщества Богов.

Никто, конечно, не верил этим словам, но на Инис-Дахуте, как и во всех остальных краях, Фундаменталисты надлежащим образом гордились своим племенным божеством и, когда бы ни тратили время на религиозные отправления, выжимали из превозношений этому богу сколько только могли. Теперь они совершили Пиге-Ипсизигу прекрасные подношения из перепелов, корицы и бычьих сердец и запели Гимн Усыпанного Звездами Зада, тогда как на жертвеннике стояли два кувшина с кровью детей.

Таким образом, поначалу все шло достаточно гладко. Но когда компания поклонников Морвифи с обнаженными мечами приблизилась к жертвеннику для их освящения и покуда они поднимались по ровным порфирным ступеням, хромающий Гонфаль споткнулся или поскользнулся. Как бы то ни было, он выронил меч. Высокорослый герой поспешно поймал падающий меч, схватив его за недавно заточенное лезвие. И он вцепился в него с таким необъяснимым рвением, что разрезал себе правую руку до кости, а к тому же порезал все пальцы.

– Решительно, – сказал Гонфаль с кривой усмешкой, – в этом есть некий рок и соискание руки Морвифи не для меня.

Он говорил чистую правду, ибо дням, когда он носил меч, пришел конец. Гонфаль должен был искать врача и бинты, в то время как освящались мечи его соперников. Царица заметила, что он ушел, и, движимая то ли благодушием, то ли религиозными угрызениями совести, сказала вполголоса:

– Волей-неволей приходится восхищаться этим реалистом.

Она услышала вдалеке стихающее эхо трубных звуков и поняла, что еще раз семь героев-поклонников царицы Морвифи отправились лишать мир его главных богатств. Но бородатый Гонфаль остался на варварских Чудесных Островах, даже под той же крышей, что и Морвифь, и не беспокоился ни о каких богатствах, кроме красоты Морвифи, которую он лицезрел ежедневно. Со временем руку ему вылечили, но пальцами на этой руке он больше двигать не мог. А в остальном, если люди и перешептывались там и сям, сплетни не выходили за пределы достаточно известные при расчетах дворцовой жизни.

Глава VIII

Как хвастались принцы

И вот, когда вновь прошел год и на Инис-Дахуте вновь подул южный ветер, возвратились семеро поклонников и привезли с собой другие раритеты, добытые героическими подвигами.

Тут, к примеру, была фигурка птицы, вырезанная из нефрита и сердолика.

– С помощью этой бесценной птицы, – объяснил принц Лорнский Хедрик – тот, который на самом страшном из обитаемых полуостровов, если ему верить, вырвал этот талисман у Морского Царя, – вы сможете попасть на Морской Базар и сможете свободно разгуливать среди народа, живущего в домах из кораллов и черепаховых панцирей, крытых рыбьей чешуей. Мудрость морского народа превосходит сухую и бесплодную мудрость земли, их знание насмехается над вымыслами, которые мы называем временем и пространством, а их дети лепечут о тайнах, неведомых ни одному из наших главных пророков и самых искусных геомантов.

– Это что! – воскликнул принц Таргамонский Балеин. – У меня есть дымчатая завеса, расшитая крохотными золотыми звездочками и роговыми чернильницами. И она позволяет проходить через пылающие врата Ауделы – страны, лежащей по ту сторону огня. То царство Слото-Виепуса: в том краю нет горя, а счастье и непогрешимость привычны для всех, поскольку Слото-Виепус – великий мастер искусства, которое вытравливает и выжигает любую ошибку, будь она человеческая или божественная.

Принц Оркский Дуневаль не сказал ничего. Он молча совершил свое подношение, оказавшееся квадратным зеркальцем вершка в три поперечником. Морвифь посмотрела в это зеркало. Увиденное в нем мало походило на великолепную смуглую девушку. Она поспешно отложила в сторону этого блестящего и чересчур мудрого советника, а лицо царицы стало встревоженным, поскольку не было нужды спрашивать, что за зеркало привез ей Дуневаль из Антана.

Торньи Вижуаский не любил молчать. А следующим соискателем был он.

– У подобных безделушек, которые я замечаю у ваших ног, моя принцесса, – заявил Торньи Вижуаский, – есть свои достоинства. Никто и не отрицает этих достоинств. Но я, который теперь могу обратиться к вам с откровенностью, которой следует присутствовать между двумя, в сущности помолвленными, людьми, я принес тот сигил, который дал мудрость и власть Аполлонию, а позднее Мерлину Амброзию. Он представляет собой, как вы видите, глаз, окруженный скорпионами, оленями и, – он кашлянул, – крылатыми существами, у которых обычно нет крыльев. И он управляет девятью миллионами воздушных духов. Мне больше ничего говорить не нужно.

– А мне нужно, – вступил в разговор принц Гурген, – сказать, что у меня здесь сияющий треугольник Торстейна. А сказать это – значит сказать намного больше, чем сказал Торньи. Ибо этот треугольник – господин мудрости извергов и всех народов, обитающих под землей. Более того, сударыня, если этот треугольник перевернуть – вот так, он сделает вас способной по своей воле благословлять и проклинать, беседовать с умершими жрецами и владеть силой и семью таинствами луны.

– Подобной подпольной мудрости, подобным созданиям пещерных людей и в особенности вашим лунным испарениям я заявляю во всеуслышанье, словно птица с конька крыши: «Дешевка, дешевка!» – заметил принц Клофурд. – Ибо у меня здесь, в этой шагреновой шкатулке, знаменитый, могущественный и несказанно священный перстень Соломона, подданными владельца коего являются джинны, ослоногие нацикины и четырнадцать самых благоразумных и верных серафимов Яхве.

Принц Гримок же сказал:

– У Соломона была своя архаичная мудрость, достаточно пригодная для повседневных дел, но весьма ограниченная, так как отмерялась иудейским богом. Но у меня здесь жертвенник, высеченный из куска селенита. Внутри этого жертвенника вы можете услышать движение и сухое шуршание какого-то бессмертного. Давайте не будем говорить об этом бессмертном: ни солнце, ни луна никогда не освещали его, а его имя далеко не привлекательно. Но это Жертвенник Противника, и владелец этого маленького

жертвенника может за определенную плату возвыситься до мудрости, бросающей вызов сдерживающим началам и выходящей за границы, начертанные любым богом.

Таковы были дары, принесенные Морвифи. И по двум причинам царица затруднилась сказать, какое из этих подношений достойно стать свадебным подарком.

Глава IX

Мудрость взаймы

Но Гонфаль, когда царица совещалась с ним наедине, как она уже привыкла решать все вопросы, высокий статный Гонфаль пожал плечами. Он сказал, что на его взгляд, без сомнения, взгляд непрактичного реалиста, ее поклонники еще раз привезли не подарки, а всего лишь ссуды весьма сомнительной ценности.

– Ибо я видел, как дон Мануэль заполучил уйму подобной мудрости из весьма небезопасных источников. И я к тому же видел, что из этого получилось, когда седовласому плуту пришлось в назначенное время возвращать свою мудрость. Да, сударыня, у всех должна быть отнята любая мудрость. Эти мудрецы, обладавшие в старину всеми своими знаниями... сохраняют ли они их сейчас? Вопрос абсурден, поскольку земля, которой стал Соломон, содержит в себе не больше разума, чем грязь, которой стал третий помощник Соломонова повара. Упорные люди до сего дня заполучили мудрость Ауделы или Морского Базара; и та Фрайдис, с которой дон Мануэль жил некоторое время в некроромантичном беззаконии, и та неопишная Иродиада, бывшая дочерью Таны, – эти женщины когда-то достигли мудрости Антана. Но смогли ли они взять эту мудрость с собой в могилу?

– Понятно, – задумчиво сказала Морвифь и улыбнулась.

– Равным образом, – продолжил Гонфаль, – где теперь ваш Торстейн или ваш Мерлин? Все, что сегодня осталось от любого из этих чудотворцев, вполне возможно, в этот самый миг несет над нами вместе с пылью ласковый, но настойчивый ветер, дующий над Инис-Дахутом. Но волхв движется неопознанным, непочитаемым, бессильным, и он движется по воле ветра, а не по своему выбору. Ах, нет, сударыня! Эти причудливые, архаичные игрушки могут на короткое время дать взаймы мудрость и понимание. Но тем не менее через сорок лет...

– О, достаточно вашей арифметики! – попросила его Морвифь. – Она служит хорошую службу, и я одобряю вашу математику. Я действительно считаю совершенно чудесным то, мой милый, как быстро вы, реалисты, можете выдумать подходящие трюизмы. Но точно так же я начинаю ненавидеть этот ветер. И я бы лучше поговорила о чем-нибудь другом.

– Тогда давайте поговорим, – сказал Гонфаль, – о том, насколько отлично от всех остальных женщин я отношусь к вам.

– Эта тема не нова. Но она неизменно интересна.

Так, некоторое время они обсуждали этот вопрос. Затем они перешли к другим вопросам. И Морвифь спросила Гонфаля, уверен ли он, что уважает ее так же, как всегда, и Морвифь поправила волосы и призвала к себе имама Булоту, а также послала за премьер-министром Масу.

– Мудрость сего мира – лишь несомая ветром пыль, – сказала Морвифь. – Сохраняют ли мудрецы, обладавшие в старину мудростью, ее сейчас?

Затем она с похвальной точностью повторила остальные замечания Гонфаля.

И ее слушатели с неподдельным чувством уважения похвалили ее.

– Ибо такое проникновение в вопрос, который Пиге-Ипсизиг не считал нужным раскрывать, мне всегда казалось небезопасным, – заметил премьер-министр.

– По сути, притязания науки, так называемой... – начал имам и говорил свои обычные двадцать минут.

Таким образом, все было назидательным образом улажено. Подношения королевских сынков были объявлены неистинными подарками; вновь был объявлен конкурс; и еще раз семь героев разъехались по свету. И мысли не было, что высокий Гонфаль отправится вместе с молодыми соперниками, ибо калека, который не мог держать меч, не годился для дела лишения мира его сокровищ. Вместо этого бородатый Гонфаль остался на Инис-Дахуте и безмятежно жил на варварских Чудесных Островах. И если люди теперь говорили кое о чем открыто, то чему тут удивляться: любая царица никогда не может и надеяться быть

совершенно свободной от критики.

Глава X

О голове Гонфалья

Следствием уже описанных двух ударов рока явилось то, что, когда вновь пришла весна и когда еще раз над Инис-Дахутом задул южный ветер, Гонфаль Нэмский сидел у ног Морвифи, положив красивую голову ей на колени, и ждал возвращения ее менее невезучих поклонников.

– Интересно, какие подарки они принесут мне, – сказала царица Морвифь, – примерно в этот же час завтра?

И Гонфаль, не двигаясь, важно вздохнул и ответил:

– Мне, сударыня, они принесут горькие дары. Ибо, кто бы ни победил в этом конкурсе, я проиграл; и что бы он ни принес вам, мне он принесет отделение от сути, и мне он принесет мучительный, хотя и короткий промежуток одиночества, прежде чем вы решитесь отрубить мне голову.

Тут она по-матерински погладила его по голове.

– Что за мысль! – сказала Морвифь теперь, когда мужчина сам заговорил о приближающемся исполнении общественного долга, угроза которого уже какое-то время беспокоила ее. – Будто, мой милый, я вечно только об этом и думала!

– Вне сомнения, это произойдет, сударыня. Замужество влечет за собой выполнение множества обязательств, и не все они приятны. В частности, царицам приходится соблюдать приличия, им приходится гарантировать свободу действий тех, кому они доверились.

– Знаете, – с грустью произнесла она, – именно это и сказал мне наемный мой дорогой старый имам. И Масу говорил о том, что замужняя женщина должна религии, и о прекрасных образцах нравственности.

– И, однако, кажется странным, наслаждение моих наслаждений, что я брошу вас – ради палача – без настоящего сожаления. Ибо я удовлетворен. Пока мои хитрые собратья разъезжали по свету в поисках власти и мудрости, я решил, будучи непрактичным реалистом, следовать красоте. Разумеется, я следовал ей, выражаясь языком этого нелепого юного Гримока, платя определенную цену. Однако за эту цену я достиг, искалеченный и обреченный, красоты. И я удовлетворен.

Царица натянула на лицо соответствующую случаю застенчивую мину.

– Но что же такое, мой друг, в конце концов, чистая красота?

И он ответил с честностью, которой она весьма не доверяла:

– Красота, сударыня, это Морвифь. Не легко описать ни одно из этих самых дорогих и ослепительных синонимов, о чем свидетельствуют горы испорченной бумаги!

Она ждала, по-прежнему глядя его, и ей на ум пришел странный вопрос: возможно ли, что даже сейчас этот мужчина над ней насмехается?

Она сказала:

– Но не огорчит ли вас нестерпимо, мой милый, что вы увидите меня женой другого мужчины? И не будет ли по-настоящему добрым поступком...

Но бестолковый малый не стал рыцарственно сглаживать ее путь к грядущему исполнению общественного долга. Вместо этого он ответил достаточно странно:

– Морвифь, которую я вижу и по-своему почитаю, не может быть ничьей женой. Все поэты узнали эту истину по ходу своего беспокойного продвижения в направлении реализма.

И еще какое-то время юная царица молчала. А потом она сказала:

– Я не вполне вас понимаю, мой дорогой, и, вероятно, никогда не пойму. Но я знаю, что из-за своей любви ко мне вы дважды себя калечили и откладывали в сторону, словно это пустяк, свой шанс добиться почестей, огромного богатства и всего того, что наиболее ценят эти слабые людишки...

– Я, – ответил он, – реалист. Конечно, за три крайне приятных года надо платить. Но реалисты платят не хныча.

– Дорогой мой, – продолжила царица, теперь учащенно дыша и со своего рода счастливыми всхлипываниями, которых, по ее мнению, требовал случай, – вы единственный из всех мужчин, так много болтающий и рисующийся, вы один подарили мне искреннюю и безраздельную любовь, даже не сопоставляя свою собственную честь рыцаря и всемирную славу с абсолютностью этой любви. И, конечно, именно как и говорит имам, если б я когда-нибудь вышла замуж за кого-то другого, что я обещала сделать – в известном смысле, – то все же не потому, что не могла бы махнуть рукой на приличия, а просто не хочу, чтобы ее отрубили! Ибо такая весьма самозабвенная любовь, как ваша, дорогой Гонфаль, есть дар, достойный стать моим свадебным подарком. И безотносительно к тому, что говорит кто-либо, именно вы будете моим мужем!

– А как же объявленный конкурс, сударыня? – ответил он. – И ваши обещания этим семи идиотам?

– Я расскажу этим отвратительным третьим сыночкам, и имаму, и Масу, и всем, – сказала царица, – довольно весомую и действительно священную истину. Я расскажу им, что нет более великого подарка, чем любовь.

Но красивый мужчина, теперь поднявшийся перед ней, ни в коей мере не разделял ее возвышенных чувств. И был явно виден его испуг.

– Увы, сударыня, вы предлагаете совершить чудовищное преступление! Ибо мы все в такой крайней степени являемся рабами своих лозунгов, что все бы с вами согласилось. На то, «что скажет кто-либо», нет никакой надежды. Придурки повсеместно скажут, что вы выбрали мудро.

Тут Морвифь выпрямилась на своем диване из слоновой кости.

– Я уверена... я, в самом деле, совершенно уверена, Гонфаль, что вас не понимаю.

– Я имею в виду, сударыня, что, в то время как ваше предложение, конечно же, очень милосердно и благородно, я вновь должен, из чистой справедливости, я должен кое-что пояснить. Я имею в виду, что, по-моему, вы знаете, как и я, что любовь не подарок, который можно дарить, да никто и не надеется его надолго сохранить. Ох, нет, сударыня! Мы пожмем плечами, мы с улыбкой оставим романтикам их лозунги. Между тем, для таких реалистов, как мы с вами, остается несомненным, что любовь тоже лишь ссуда.

– Так вы вернулись, – заметила царица, начиная раздражаться, – к своим вечным ссудам!

Он слегка развел руками.

– Любовь – это та ссуда, моя дорогая, которую мы берем с наибольшей благодарностью. Но в то же самое время давайте признаем, как рациональные люди, непрочность всех тех вещей, что обычно вызывают эротические эмоции.

– Гонфаль, – сказала юная царица, – сейчас вы говорите ерунду. Вы говорите с опасным недостатком чего-то более важного, нежели благоразумие.

– Моя любовь, я опять-таки говорю как вдовец. – Затем какое-то время он молчал, и Морвифи показалось, что этот непостижимый и неблагодарный человек дрожит. Он же сказал: – И по-прежнему я говорю о математической определенности! Ибо как вы можете надеяться всегда оставаться предметом любви? Через десять лет, самое большее через двадцать, вы станете либо полной, либо морщинистой; ваши зубы сгниют и выпадут; ваши глаза потускнеют; ваши бедра весьма несоблазнительно раздадутся вширь; ваше дыхание станет неприятным, а ваши груди превратятся в висающие мешки. Все эти ухудшения, повторяю, моя дорогая, произойдут с математической определенностью.

На такой жуткий и неуместный вздор царица с достоинством ответила:

– Я не ваша дорогая. И я просто дивлюсь вашим наглым мыслям в отношении меня.

– Значит, к тому же, – задумчиво продолжил дурно воспитанный негодник, – вы не слишком рассудительны. Это довольно неплохо, поскольку рассудительность в юности, по тем или иным причинам, плохо влияет на волосы и портит фигуру. Однако пожилая женщина, глупая, как госпожа Ниафер или еще

одна женщина, которую я нередко вспоминаю, совершенно невыносима.

– Но что, – спросила она его вполне здраво, – у меня общего с глупыми старыми женщинами? Ведь я – Морвифь, я – царица Чудесных Островов. У меня есть таинственные предметы, управляющие любым богатством – если бы мне когда-либо пришлось по душе такие вещи – и к тому же любой мудростью. Не существует красоты, подобной моей красоте, да и власти, подобной моей власти...

– Знаю, знаю! – ответил он. – И в настоящее время я, конечно же, вас обожаю. Но, тем не менее, согласись я с вашим самым ужасным предложением и разреши вам поместить себя, совершенно открыто, рядом с собой на высоком троне Инис-Дахута... что ж, тогда через весьма непродолжительное время я стал бы не против того, что вы глупы, я бы действительно не замечал вашей ветшающей внешности, я бы благодушно воспринимал все ваши недостатки. И я был бы вполне удовлетворен вами – той, которая когда-то являлась отчаяньем и радостью моей жизни. Нет, Морвифь, нет, мое дитя! Я, который когда-то был поэтом, не могу вновь вынести жизни в довольстве вместе с глупой и ворчливой женщиной, которая еще и непривлекательна внешне. И, совершенно определенно, через двадцать лет...

Но царственный жест приостановил столь безумные речи, и Морвифь, тоже встав, сказала:

– Ваша арифметика начинает утомлять. Можно позволить себе почитать трюизмы в соответствующее им время и о подходящих людях. Но существует, и всегда должен существовать, предел диапазону такого избитого философствования. У вас больше нет публики, мессир Гонфаль. И это ваша последняя публика, поскольку я считаю вас последней скотиной.

Гонфаль поцеловал властительную ручку, прогоняющую его.

– Вы же, моя дорогая, – заявил он, – в любом случае, прежде всего человечны.

Глава XI

Расчетливость Морвифи

И вот так получилось, к огромному облегчению имама и, как казалось благочестивому доброму старику, вероятно, в качестве непосредственного ответа на его молитвы о том, чтобы этот вопрос был приемлемо улажен во всех отношениях и без каких-либо неприятностей, что на следующий день, в полдень, как раз когда семь героев возвращались с подарками, слуга принес царице Морвифи отрубленную голову Гонфаля.

Это происходило в зале Тотмеса со сводчатым потолком, постройка которого имела знаменитую историю и о великолепии которого странники по возвращении домой рассказывали без всякой надежды, что им поверят. Там и находилась Морвишь, сидя в короне на высоком престоле. И в это ясное апрельское утро трубы на узких улочках и на бронзовых и изразцовых крышах не оповещали о том, что самые могучие и самые хитрые герои приближаются к Инис-Дахуту из всех царств земли, мечтая о юной царице Чудесных Островов, чья красота – диво дивное и легендарна в далеких краях, неизвестных Морвифи даже по названиям.

Вот так и сидела Морвишь, а у ее ног покоилась отрубленная голова Гонфаля. На роскошной бороде запеклась кровь, но мертвенно-бледные губы по-прежнему улыбались чему-то, казалось, совсем несущественному. И Морвишь задалась прежним вопросом: возможно ли, что даже сейчас этот мужчина над ней насмехается? И возможно ли, гадала она (так как внезапно вспомнила их первый разговор), что блондинки порой чертовски хорошо сохраняются и что какая-нибудь полинявшая безответственная принцесса могла бы, так или иначе, даже находясь в могиле, одержать победу над великой Царицей?

В общем, великой царице пока не было нужды думать о могилах и их весьма неприятном содержимом. Ибо Морвишь пока сидела высоко – величественная, юная и всемогущая – в своем прекрасном дворце, о котором вздыхало так много ее поклонников, а над которым дули ласковые апрельские ветры... Никто не отрицал, что этот очень утомительный ветер каждый год будет прилетать с Юга (размышляла прелестная девушка, начав в задумчивости тыкать ногой в то, что осталось от Гонфаля) и что точно так же этот настойчивый ветер будет дуть над Инис-Дахутом, когда здесь больше не будет ни Морвифи, ни дворца... Никто не отрицал этого, и никто, кроме сумасшедших и весьма грубых людей, вообще не думал серьезно о таких трюизмах.

Для действительно благочестивых особ достаточно того, что в юности у них есть одолженное им блестящее убежище от безжалостного, настойчивого ветра, уносящего все, словно пыль. Если человек то и дело чувствовал себя чуточку подавленным, то не по какой-то определенной причине. А Морвишь, которая пока, в отведенное ей время, была царицей пяти Чудесных Островов, слышала трубы и герольдов, возвещающих о прибытии принца Лорнского Хедрика...

Значит, он вернулся первым из всех этих совершенно отвратительных зануд, которые из-за любви к ней, теперь уже в третий раз, лишили весь мир его богатств. А у него довольно-таки приятные глаза. И Морвишь поправила прическу.

Книга Третья

Блестящие пчелы Тупана

«...И пчелы, которые в земле Ассирийской, – и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревьям».

Исайя, 7, 18-19

Глава XII

Заслуженный волхв в отставке

Теперь история более не о Гонфале, который из властителей Серебряного Жеребца погиб первым. Вместо этого история рассказывает, что во время приключений Гонфала на Инис-Дахуте еще три героя этого братства покинули тот Пуактесм, который при правлении госпожи Ниафер менялся день от дня. В самом деле, Котт Горный уехал на Запад в тот же самый месяц, в который Гонфаль отбыл на Юг. С Коттом спорить всегда было бесполезно. Поэтому, когда он объявил о своем намерении вернуть дону Мануэля в Пуактесм, который женщины, святые и лживые поэты (как доказывал Котт) делают совершенно непригодным для житья, никто не спорил. Котт отправился на Запад, и ему никто не мешал и его никто не отговаривал. И некоторое время о нем ничего не было слышно.

А в один прекрасный майский день того же года Керин Нуантельский, синдик и кастелян Басардры, исчез даже более необъяснимо, чем дон Мануэль, ибо об уходе Керина не было даже слухов. Керин, насколько стало известно, пропал в темноте ночного времени без посторонней помощи так же, как эта темнота сама пропадает в свою очередь, и с точно такими же легко исчезающими следами своего ухода. Горе молодой жены Керина, госпожи Сараиды, было таково, что дюжины дюжин поклонников не смогли бы утешить ее во вдовстве, что сразу же стало ясно. И о Керине тоже какое-то время больше не слышали.

И Мирамон Ллуагор, который при Мануэле являлся сенешалем Гонтарона, тоже покинул Пуактесм; спокойно и совсем нетаинственно отбыл вместе с женой и ребенком, сидящими рядом с ним на спине пожилого, совершенно ручного дракона, к себе в старый дом на Севере. Именно там Мирамон впервые повстречал дону Мануэля в те дни, когда Мануэль еще пас свиней. И именно там Мирамон Ллуагор надеялся провести остаток своей жизни, который разрешен ему судьбой, в настолько непритязательным уюте, какой только можно где-то устроить для семейного мужчины.

В других отношениях, на более светлой стороне предписанной ему отвратительной судьбы он не видел ничего, что бы его беспокоило. Ибо Мирамон Ллуагор чудесным образом преуспел в магии; он был, как говорится, ошастливленным больше, чем мог просить любой благоразумный человек. И самым вопиющим из этих излишеств ему казалась его жена.

Рассказывают, что Мирамон являлся одним из Леших, происходящим из народа, который не относится ни к людям, ни к бессмертным, и что дом его предков был построен на вершине горы, называвшейся Врейдекс. На Врейдекс Мирамон Ллуагор и вернулся после роспуска Братства Серебряного Жеребца, и Мирамон перестал забавляться величием Мануэля и другими представлениями о Пуактесме.

Повествуется, что этот волшебник оставил карьеру странствующего рыцаря, в которой сенешаль Гонтарона, посредством своего искусства являвшийся также повелителем девяти разновидностей сна и князем семи безумий, никогда не показывал своих сильных сторон. Он больше не боролся со злом, а с погодой сражался не чаще, чем подобало герою, подверженному ревматизму, и он никоим образом не рисковал своим уютом, чтобы приостановить процветание несправедливости. Вместо этого он поддерживал на отвесных скалах Врейдекса спокойное уединение, присталое ветерану-кудеснику, в своей башне, выдолбленной в одном из клыков Бегемота; и содержал также значительную свиту разнообразных ужасающих иллюзий для охраны подходов к его Подозрительному Дворцу. В нем, как к тому же рассказывает история, этот волхв возобновил свои прежние занятия и опять создавал сновидения.

Вот так, на спине пожилого, совершенно ручного Дракона Мирамон вернулся к своим прежним занятиям и практике, которую он – в своей потрясающей манере изъясняться – называл искусством ради искусства. Эпизод с Мануэлем, относящийся к низшей области чисто прикладного искусства, был достаточно забавен. Этот глупый, высокий, меланхоличный позер, собравшись спасти Пуактесм, нуждался просто в толике элементарной магии, которую Мирамон приберег для него, чтобы утвердить Мануэля среди великих мира сего. Как следствие этого Мирамон послал несколько вышедших из употребления богов, чтобы изгнать из Пуактесма норманнов, тогда как Мануэль ждал на побережье к северу от Манвиля и разнообразил свое безделье задумчивыми плевками в море. После чего Мануэль владел этим краем к восхищению всех, но в особенности Мирамона, который вообще не мог согласиться с Анавальтом

Фоморским в оценке умственной одаренности дона Мануэля.

Да, было забавно служить под началом Мануэля, играя роль властителя Гонтарона и Ранека и рассматривая вблизи этого высокого, серьезного, седого, пучеглазого самозванца, который научился только гениально молчать... Ибо в этом (думал Мирамон) и заключалась тайна Мануэля: Мануэль не спорил, не объяснял, не увещевал; он просто в любое тревожное или смутное время хранил молчание; и это молчание поражало ужасом его вечно болтающий народ и обеспечивало туповатому, но хитрому малому, который лишь скрывал отсутствие каких-либо мыслей и планов, жуткую славу за непостижимую мудрость и безграничную изобретательность.

– Помалкивай вместе с Мануэлем! – сказал как-то Мирамон. – И все остальное приложится. Очень жаль, что у моей жены нет сноровки в разгадывании истинной природы таких типчиков.

Да, четыре года стали забавным эпизодом. Но сны и создание сновидений были по-настоящему серьезными материями, к которым Мирамон вернулся после каникул на свежем воздухе с резней и управлением государством.

И здесь опять же, как и везде, ему противостояла жена. Пристрастия Мирамона в искусстве состояли в обильной романтике, подслащенной абсурдом и прибавленной всем табуированным. Но у его жены Жизели были совершенно иные взгляды, целый набор взглядов, и ее философией являлся воинственный индивидуализм. И кудесник, чтобы сохранять мир и покой по крайней мере в промежутках между наиболее язвительными и многословными выступлениями жены, должен был по необходимости создавать такие сновидения, какие предпочитала Жизель. Но он знал, что эти сны не выражали тех небольших дум и фантазий, которые таились в сердце Мирамона Ллуагора и которые погибнут под ударом судьбы, если он не превратит эти фантазии в сновидения, которые, будучи бестелесными, смогут ускользнуть от плотоядного времени.

Он превосходил других создателей образов, живущих в этом мире. Он являлся опасным властелином (из-за своей свиты иллюзий) всей страны вокруг Врейдекса. Но в собственном доме он не был опасен и не отличался превосходством над кем-либо. И Мирамон жаждал утерянной свободы холостяцкой жизни.

Его жена тоже была недовольна, поскольку пути Леших казались этой смертной непристойными. Судьба, на которую были обречены Лешие, ей, родившейся в народе, которого предопределение, похоже, не беспокоило, мнилась отдающей дурным вкусом. По сути, Жизель все время раздражало, что ее маленькому Деметрию суждено убить отца заколдованным мечом Фламбержем. Такое предопределение Жизель не находила событием, которое бы хотелось иметь грозящим вашей семье. И она чувствовала, что чем быстрее поговорить совершенно откровенно с седыми Норнами, прядущими судьбу всех живущих, тем лучше будет для всех заинтересованных лиц.

Ее раздражал один вид Фламбержа. Так что, когда, почистив по обыкновению меч в четверг утром, она вошла в башню Мирамона из слоновой кости, чтобы повесить роковое оружие на положенное место, ее тревожили мысли не о шелке и меде.

Вместе с Мирамоном под зеленым балдахин с кистями сидел человек, которого Жизель увидела здесь без удивления. Ибо сегодня с Мирамоном наедине совещался Нинзиян, бейлиф Яира и Верхней Ардры который из всех властителей Серебряного Жеребца особо славился своим благочестием. Ужасная необходимость и особая причина, из-за которой Нинзиян был благочестив и человеколюбив, не являлись общеизвестными, но Мирамон Ллуагор знал о них и поэтому должным образом использовал Нинзияна. В действительности, в тот самый день они вдвоем рассматривали то, что Нинзиян нашел в земле Ассирийской и приобрел для кудесника по дорогой цене.

Глава XIII

Расчетливость Жизели

В этот момент госпожа Жизель тоже посмотрела на то, что Нинзиян достал для ее мужа по дорогой цене. Она посмотрела на это в целом чуть с меньшим неодобрением, чем после на обоих мужчин.

– Добрый день, да благословит вас Господь, мессир Нинзиян! – сказала госпожа Жизель и протянула руку, в которой она сжимала тряпку, для поцелуя и расспросила достаточно любезно о его жене, госпоже Бальфиде. Затем она заговорила совсем другим тоном с Мирамоном Ллуагором: – И чем же ты собираешься захламить дом на этот раз?

– Ах, женушка, – ответил Мирамон, – здесь, весьма тайно вывезенные из земли Ассирийской, те самые пчелы, о которых есть пророчество, что они усядутся по всем кустарникам. Это блестящие пчелы Тупана – сокровище, находящееся за пределами слов и мыслей. Они не такие, как остальные пчелы, ибо с виду похожи на сверкающий лед. И они беспокойно ползают, как ползали со времени падения Тупана, по этому кресту из черного камня...

– Очень подходящая история, чтобы рассказать ее мне, видящей, что у этих отвратительных тварей есть крылья, и они могут разлететься, когда им заблагорассудится! И, кроме того, кто такой этот Тупан?

– В этом мире он никто, женушка, и мудрее о нем не говорить. Достаточно того, что во времена Предков он сделал все таким, какое оно было. Потом из Идалира появился Кощей Бессмертный, отобрал власть у Тупана и сделал все таким, какое оно есть сейчас. Однако трое слуг Тупана продолжают жить на земле, где они, бывшие когда-то повелителями Вендов, сейчас не имеют никаких привилегий, кроме как скромно ползать в облике насекомых. Крылья отказывают им повиноваться здесь, среди всего, созданного Кошеем, и их неизменно удерживает заколдованный камень. Но, женушка, существует одно заклинание, которое освободит их... заклинание, которое пока еще никто не обнаружил, а его первооткрыватель будет одарен всем, чего он только сможет пожелать...

– Очередной вздор из старых сказок, где выполняется три желания и ни от одного из них нет никакого проку!

– Нет, моя любовь, поскольку я направлю их на совершенно иные, практические цели. Ибо ты должна знать, что, когда я найду это заклинание, которое освободит пчел Тупана...

Жизель дала понять, что глупости супруга ее не волнуют. Она вздохнула и повесила меч на привычное место.

– Как я устала от этого бесконечного колдовства и занятий пустячными сновидениями!

– Тогда, женушка, – сказал Мирамон, – зачем ты постоянно вмешиваешься в то, чего не понимаешь?

– Думаю, – тут же заметил Нинзиян, ибо Нинзиян тоже был женат, – думаю, мне лучше уйти.

Но внимание Жизели было целиком уделено ее мужу.

– Я вмешиваюсь, как ты это очень важно назвал, поскольку у тебя нет представления о том, что правильно и прилично, и нет представления о морали, и нет чувства целесообразности, и, по сути, вообще нет никаких чувств.

Мирамон же сказал:

– Ну, дорогая!..

Нинзиян поспешно взялся за шляпу.

А Жизель продолжала изливать тот неодолимый и опустошительный поток, который свойствен приливным волнам и языку жены, говорящей для блага своего мужа.

– Женщинам повсюду, – сообщила Жизель, – приходится тяжело, но мне особенно жаль женщину, вышедшую замуж за одного из помешанных художников. У нее нет даже наполовину мужа, у нее есть лишь малый ребенок с длинными ногами...

– Оказывается, сейчас немного позднее, чем я думал, на самом деле уже...– безрезультатно заметил Нинзиан.

– ...И у меня могла бы быть дюжина мужей...

Мирамон сказал:

– Но наверняка ни одна женщина с таким высоконравственным поведением, как твое, моя дорогая...

– ...Я могла бы, как ты отлично помнишь, выйти замуж за самого графа Мануэля...

– Знаю. Не могу забыть, как ты чуть не собралась выйти за него замуж. Он был тупым, бесчувственным и весьма нечестным олухом. Но удача никогда не оставляла Свинопаса Мануэля, – сказал со вздохом Мирамон, – даже в те дни!

– А я тебе говорю, что могла бы выбрать из дюжины действительно выдающихся и видных воинов, у которых хватило бы такта вспоминать о годовщине нашей свадьбы и о моих днях рождения и которые, в любом случае, не торчали бы дома по двадцать четыре часа в сутки! Вместо этого теперь я привязана к бестолочи, тратящей свое время на выдумывание снов, которые, так или иначе, никого не волнуют! И однако, даже при этом...

– И однако, даже при этом, как ты, без сомнения, собираешься отметить, моя дорогая, даже при этом, поскольку твой монолог имеет отношение к предметам, которые предположительно могут не интересовать нашего гостя...

– И однако, – сказала Жизель с сильным и убийственным ударением, – даже при этом, если б ты только отнесся разумно к своим дурацким затеям, я могла бы примириться с тем неудобством, что ты каждую секунду путаешься у меня под ногами. Людям нужны сны, чтобы помочь им пережить ночь, и никто не наслаждается по-настоящему хорошим сном, как я, когда у меня на него есть время, при миллионе и одной заботе, которыми я обременена. Но сны должны быть благотворны...

– Моя дорогая, в общем, в качестве предмета эстетики, фактически...

– ...Но сны должны быть благотворны, они должны быть осмысленны, они должны учить возвышенной морали, и они, определенно, не должны являться непостижимым, неубедительным вздором, который никто не может понять и наполовину. Они должны, одним словом, дать почувствовать, что, в конце концов, этот мир – довольно приятное место...

– Но, женушка, я в этом не уверен, – кротко сказал Мирамон.

– Тогда тебе еще больше должно быть стыдно! И, мягко выражаясь, тебе лучше держать подобные представления при себе, а не тревожить ими наслаждение других людей!

– Я использую свой природный дар, я выражаю самого себя, а не других. Розовый куст не дает зерна, да и льна тоже, – ответил кудесник, устало пожав плечами. – Короче, чего ты хочешь?

– Шибко тебя волнует, – розовый куст! – что я предпочитаю! Но если б у меня и было желание, твое дурацкое создание сновидений отобрали бы у тебя, и мы смогли бы жить в некотором роде благопристойно и здраво.

Все то время, пока Жизель разумно и спокойно увещевала своего мужа ради его же блага, она лихорадочно вытирала повсюду пыль, просто чтобы показать, какой рабыней она является, и поскольку Мирамона раздражало, когда его личные вещи вот так тыкают и пихают. И сейчас, продолжая говорить, Жизель злобно шлепнула тряпкой по черному кресту. И случившееся изумило бы бесчисленных волхвов и чародеев, посвятивших века поиску заклинания, освобождающего пчел Тупана. Ибо сейчас без всякого применения магии тряпка смахнула с камня одно из насекомых. Сообщают, что Кощей, создавший все таким, какое оно есть, постановил, что эта блестящая угроза должна быть выпущена на волю лишь самым очевидным образом, поскольку знал, что этим методом любой ученый муж воспользуется в последнюю очередь. Затем какой-то миг стены башни из слоновой кости дрожали, словно раздуваемые ветром занавески. А пчела, сверкая, приблизилась к окну и пролетела сквозь прозрачное стекло закрытого окна, оставив в нем маленькое круглое отверстие, и это существо отправилось к Плеядам, чтобы присоединиться к семи своим сестрам.

Глава XIV

Последовавшие перемены

Теперь, когда восьмая блестящая пчела присоединилась к семи своим сестрам в Плеядах, парящий в пустоте Тупан открыл свои древние безжалостные глаза. Джаси вернулся в свои прежние владения на луне. Все растения и деревья повсюду завяли, а море утратило свой зеленый цвет, и больше не стало изумрудов. А Звездные Воители и Стражи Миров заволновались и стали звать Кощея, изобретшего Их и поместившего на посты, чтобы вечно надзирать за всем, какое оно есть.

Однако Кощей по каким-то своим резонам не ответил.

Затем Джаси прошептал Тупану:

– Грядет час твоего освобождения, о Тупан! Грядет час падения Кощея. Ибо среди всего, какое оно есть, нигде не останется зелени, а без зеленого никто не может сохранить здоровье и силу.

Тупан ответил:

– Я унижен. Мои кости стали как серебро, и мои члены превратились в золото, и мои волосы словно ляпис-лазурь.

– Твой взор не изменился, – медленно прошептал Джаси. – Направь свой взор, о Тупан, на творения Кощея, поносившего Предков и создавшего все таким, какое оно есть.

– Хотя он и признает оба этих злодеяния, какая нужда беспокоить мои глаза, во всяком случае пока?

Тогда Джаси ответил:

– Направь свой взор, о Тупан, чтобы мы, Предки, могли возрадоваться ужасу твоего взора.

Тупан ответил:

– Я существовал прежде Предков. Моя душа существовала прежде мысли и времени. Это душа Шу, это душа Хнума, это душа Аха; это душа Ночи и Запустения, и существует предположение, что моя душа смотрит глазами каждого змея. Моя душа одна хранит все знания о той мрачной пагубности, которая повсюду окружает произведения Кощея, создавшего все таким, какое оно есть. Поэтому что за нужда беспокоить мои глаза, во всяком случае, пока?

Но Джаси вновь сказал:

– Помоги же Предкам! Твои пчелы уже выпущены на волю, и они усядутся по всем кустарникам, и не останется зелени. Направь же и свой взор, в коем знание, в котором отказано Кощею!

И Тупан ответил:

– Время моего освобождения еще не подошло. Тем не менее, когда еще одна пчела будет выпущена на волю, я встряхну свою душу, я направлю свой взор, так, чтобы все смогли ощутить его ужас.

При этом Звездные Воители и Стражи Миров вновь позвали Кощея.

И тогда Кощей ответил Им:

– Потерпите! Когда Тупан будет освобожден, я погибну вместе с Вами. Меж тем, я создал все таким, какое оно есть.

Глава XV

Страшный гнев Мирамона

В тот самый миг, когда восьмая блестящая пчела присоединилась к своим сестрам в Плеядах, Мирамон Ллуагор, испуганно стоя в своей башне из слоновой кости, ощутил некое прикосновение к своему лбу, словно по нему провели влажной губкой. Потом он осознал, что после раздражительного высказывания желания его чертовой женой он забыл секрет своего превосходства над остальными.

Говорят, он еще мог вспомнить кое-что из магии Пурина и разбросанных камней, Коня и Водяного Быка, и большая часть учения Апсар и Файдинов осталась ему подвластной. Он по-прежнему мог ухитриться, как он знал, управлять блуждающим Ламбой, наводить страшный мост Белых Владычиц или выдумывать танец Корриган. Он сохранил связь с Нексой и Паральдой, этими верховными Первоэлементами. Он удерживал господство над опустошающими Шедимами, пугающими Шехиримами и разрушающими Мазикинами. Не потерял он и контакта с Небесными Распорядителями, из которых в то время высшей властью обладал Ох, и именно его обычно вызывал Мирамон Ллуагор для кратких профессиональных консультаций каждое воскресное утро на рассвете.

Но подобные достоинства, как понял с отчаяньем Мирамон, являлись орудиями ограниченных волшебников-ремесленников, это были азы для любого по-настоящему искусного кудесника. А высший секрет, делавший Мирамона Ллуагора господином всех сновидений, полностью был утрачен.

Он очень рассердился. Он еще более разозлился, когда увидел своего рода испуг и смущенное раскаяние на глупом лице жены и с отчаяньем понял, что сейчас начнет ее успокаивать.

– Проклятая баба! – воскликнул Мирамон. – Теперь в самом деле, твой здравый смысл завершил то, что начало твое ворчание! Вот судьба всех художников связавшихся с благовоспитанными женщинами. Верно было сказано, что брачное ложе есть могила искусства. В общем, я со многим в тебе мирился, но это подвело черту, и я не буду мириться с твоим увлечением добропорядочным и здоровым образом жизни, и я желаю, чтобы ты оказалась в середине следующей недели!

С этими словами он выхватил грязную тряпку из рук Жизели, шлепнул ею по одной из оставшихся пчел и смахнул ее с черного креста. И эта пчела улетела, как и первая.

Глава XVI

Касающаяся Плеяд и бритвы

Когда блестящая пчела улетела, как и первая, Тупан расправил крылья и приготовился воззреть на творения Кощея. А в тот миг, когда Тупан пошевелился, миры в этой части вселенной начали плавиться и течь по небу. А Гаураси сгреб их остатки в одну кучу и образовал солнце, неизмеримо более крупное, чем потерянное им, и получился буйный, безумный пожар, который ни в чем не соотнобразывался с произведениями Кощея.

И тогда Гаураси дружелюбно крикнул Тупану:

— Грядет час Твоего освобождения, о Тупан! Грядет час возвращения Предков, грядет час падения Кощея!

Тупан ответил:

— Час моего освобождения еще не пробил. Но пришел час моего взора.

Тут Гаураси заревел, сгребая и остальные миры в ненасытное пламя своего ужасного греха.

— Я зажег для Тебя прекрасный свет!

И теперь боги, которым поклонялись в оставшихся мирах, также стали звать Кощея. Ибо теперь, в невыносимом сиянии испепеляющего солнца Гаураси, они показались непрочными и несостоятельными созданиями. И, более того, боги поняли, что, если последняя пчела будет освобождена с креста, будет образована десятка Плеяд, а Тупан выпущен на волю и вернется власть Предков; и что грядет день, предсказанный многими пророками, день, в который все боги должны побриться выданной им бритвой; и что после исполнения этой ужасной и постыдной необходимости божественное благоденствие повсюду закончится навсегда.

Меж тем, взгляд Тупана шарил среди Звездных Воителей и Стражей Мира. Именно Они под руководством Кощея придали форму землям и водам, и скрепили вместе горы, и сделали все остальное таким, какое оно есть. Именно Они соединили небеса и вложили в каждого бога его душу. Они были создателями времени, и творцами дней, и поджигателями огня жизни, и Они являлись пилами, чьи тайные, поддерживающие жизнь имена не были известны ни одному из людских божеств. Однако теперь взгляд Тупана шарил среди Звездных Воителей и Стражей Мира, и Тупан рассматривал их одного за другим. И где бы ни останавливался взгляд старых глаз Тупана, там не оставалось ни мира, ни охранявшего его Стража, а лишь мгновенно вспыхивала мельчайшая спираль прозрачного пара.

И те, кого еще не уничтожил Тупан, жалобно звали Кощея, который изобрел Их и поместил на посты, чтобы вечно надзирать за всем, какое оно есть.

Пока Тупан осматривал произведения Кощея, тот в манере всех художников откашлялся и слегка заерзал на месте. Но когда Стражи и Звездные Воители звали его на помощь, Кощей, не шевельнув и пальцем, лишь сказал:

— Эх, господа, потерпите! Ибо я создал все таким, какое оно есть, и теперь говорю вам: гарантия успеха заключается в том, что я создал все парным.

Глава XVII

Брак в миниатюре

Но Мирамон в своей башне из слоновой кости на Врейдексе знал лишь, что его желание выполнено, ибо Жизель исчезла, как лопнувший мыльный пузырь, и сейчас находилась где-то в середине следующей недели.

– Слава Богу, избавились! – сказал Мирамон. Он повернулся к Нинзияну, этому улыбающемуся крупному филантропу. – Ибо слышали ли вы когда-либо подобные оскорбления?

– Ох, очень часто, – ответил Нинзиян, который тоже был женат. – Но что вы сделаете дальше?

Мирамон сказал:

– Я хочу вернуть секрет моего искусства.

Но Нинзияну это решение показалось не таким уж очевидным.

– Вы можете это достаточно легко сделать, освободив третью пчелу, которую правдами и неправдами я достал для вас в земле Ассирийской. Да, Мирамон, вы можете таким образом возратить свое искусство, но при этом вы также останетесь беззащитным перед назначенной вам судьбой. Так что, мой друг, советую вам вместо этого произнести заклинание, что вы сперва и намеревались сделать, и обеспечить себе вечную жизнь, пожелав, чтобы Фламберж исчез из этого мира людей.

И Нинзиян махнул рукой в сторону меча, которым, согласно предписанию Норн, великий Мирамон Ллуагор будет убит собственным сыном.

Павший кудесник ответил:

– Но что стоит жизнь, если она больше не породит сновидений? – И Мирамон также сказал: – Интересно, Нинзиян, где точно середина следующей недели?

Благочестивый Нинзиян заговорил, уверенный в своей необыкновенной эрудиции.

– Она совпадает со средой, но никто не знает где. Олибрий утверждает, что она сейчас в Арату, где все входящее туда одето, как птица, в перья, а из еды в этих бессменных сумерках только пыль и глина...

– Жизели бы это не понравилось. У нее всегда был очень нежный желудок.

– Тогда как Асиний Поллион предполагает, что кажется вполне правдоподобным, что она ждет за Слип и Гьелль в голубом доме Ностранда, где Середа отбеливает нерожденные среды под крышей из переплетенных змей...

– Боже мой! – сказал Мирамон, безутешно потирая нос. – Это никогда бы не подошло женщине, испытывающей почти болезненное отвращение к пресмыкающимся!

– ...Но Сосикл заявляет, что она оказывается в Шибальба, где Сипакна и Кабракан играют в мяч, а землетрясения находятся на попечении няни.

– Там бы она была немногим счастливее. Ее не интересуют дети, она бы ни на минуту не примирилась с капризными маленькими землетрясениями, и она бы сделала для всех все весьма неудобным. Нинзиян, – Мирамон кашлянул, – Нинзиян, я начинаю бояться, что немного погорячился.

– Вот она, моральная неустойчивость, типичная для всех вас, художников, – ответил деловой человек. – Так мой совет насчет Фламбержа не пригодится?

– В общем, понимаете ли, – сказал Мирамон очень печально, – или, вероятно, мне следует сказать, что тогда как, конечно же, все же, когда начинаешь смотреть на это более внимательно, Нинзиян, в действительности, я имею в виду тот факт, как мне кажется...

– Факт тот, – ответил Нинзиян с подавленной, но понимающей улыбкой, – что вы женатый человек. Как и я. В общем, у вас остается одно желание и не больше. Вы по своей воле можете вернуть власть над утраченной магией или вернуть жену, властвующую над вами...

– Да, – мрачно согласился Мирамон.

– А на самом деле, – бойко продолжал благочестивый Нинзиян с оптимизмом, припасаемым для дилемм своих друзей, – на самом деле вам просто необходимо иметь четкий выбор. Никто не может преуспеть на стезе как художника, так и супруга. Я не защищаю ни одну из этих карьер, поскольку, по-моему, искусство – неблагоразумная госпожа и, по-моему, жена тоже подпадает под подобное определение. Но я уверен, что ни один мужчина не может служить обеим этим дамам.

Мирамон вздохнул.

– Верно. Не существует достойной супруги для создателя сновидений, поскольку он постоянно творит более прекрасных женщин, чем предлагает ему земля. Прикосновение к плоти не может удовлетворить его, укладывающего сверкающие волосы ангелам и лепящего грудь у сфинги. Существует, конечно, женщина, разделяющая с ним постель, но во многом она не лучше, чем одеяло или подушка, и все они лишь помогают создать уют. Но что у творца сновидений, что у этого встревоженного индивидуума, живущего внутри существа, которое он видит в зеркале, общего с женщинами? В лучшем случае, эти твари дают ему образцы для идеализации за пределами не имеющей значения правды: как если б я создал роскошный бред, начав всего лишь с ящерицы. А в худшем случае, эти твари не могут прожить и получаса, не вмешиваясь в то, чего не понимают.

Тут Мирамон умолк. Он перебирал волшебные краски, которыми делал первые наброски своих сновидений. Тут была белая краска, являющаяся затвердевшей океанской пеной, и черная, которую он выжал из сгоревших костей девяти императоров. Тут была желтая слизь Скироса, и малиновая киноварь, полученная из перемешанной крови мастодонтов и драконов, и тут был ядовитый голубой песок Путеоли. И Мирамон, который уже не являлся могущественным кудесником, думал о той красоте и том ужасе, вызвать которые этими пигментами он мог еще минуту назад; он, который теперь не имел власти давать жизнь своим созданиям и который владел умением, достаточным лишь для того, чтобы выкрасить в полоску вывеску парикмахера.

И Мирамон Ллуагор сказал:

– Было бы грустно, если б я никогда вновь не управлял сном людей и не дарил им сновидений, насыщенных и ясных, красивых и соразмерных, нежных, правдивых и изысканных. Ибо, нравятся они им или нет, я-то знаю, что для них полезно, к тому же сны эти привносят в их голодную жизнь то, чего им не хватает и что следует иметь.

И Мирамон также сказал:

– Однако было бы еще грустнее, если б моей бедной жене позволили вечно распекать дрожащие землетрясения в середине следующей недели. При чем здесь то, что мне она не особо нравится? Мне и в самом себе очень многое не нравится: моя мягкотелость и вздернутый нос, делающий мое лицо смехотворным. Но хочу ли я превратиться в здорового рыцаря на коне? Рассматриваю ли я хобот слона с завистью? Что ж, Нинзиян, я поражен вашими глупыми речами! Какая мне нужда в совершенстве? Что бы у меня было общего с тем, кто терпит меня и высоко расценивает мои деяния?

Мирамон с некоторой твердостью потрянул головой.

– Нет, Нинзиян, вы тщетно докучаете мне своими непрерывными разговорами, ибо я так же привык к недостаткам своей жены, как и она к моим. Я отношусь к ее вспышкам раздражения со смирением, которое распространяется и на капризы погоды. Они неприятны. Любые ураганы неприятны. О да, но, если б жизнь стала бесконечным ясным майским днем, мы бы этого не вынесли – мы, когда-то исхлестанные бурями и штормами, будем пересекать сушу и море в поисках снега и града. Точно так же, когда рядом Жизель, я постоянно пребываю в раздражении, но сейчас, когда она исчезла, я несчастен. Нет, Нинзиян, оставьте свои речи, вам больше не нужно говорить, ибо я просто не смог бы примириться с жизнью, обладающей всеми удобствами.

Нинзиян терпеливо выслушал его, поскольку они оба были женатыми мужчинами. Потом Нинзиян, пожав плечами, сказал:

– Тогда выбирайте, Мирамон: жена и больше никаких сновидений или искусство и одиночество?

– Такие пожелания были бы чересчур расточительными, – ответил Мирамон, смахивая третью пчелу. – Поскольку я не могу вынести разрыва ни с женой, ни с искусством, неважно, насколько разрушающе они воздействуют друг на друга, я желаю, чтобы все оказалось там, где оно находилось час назад.

Третья пчела сделала большой круг и вернулась на крест. Утерянные Мирамоном знания опять оказались у него в голове.

Глава XVIII

Раздосадованный Кощей

Утерянные Мирамоном знания опять оказались у него в голове, а жизнь вновь пробудилась и во всем остальном, что погибло за этот час. Исчезло злобное солнце Гаураси, и стертые и испепеленные миры вместе со всеми спутниками вращались без всяких повреждений точно на надлежащих местах. И боги, которым поклонялись в этих мирах, радовались на небесах, поскольку Плеяд опять было лишь семь. Предки снова погрузились в сон; все на какое-то время оставалось таким, какое оно есть; и даже Тупан сейчас казался достаточно безопасным... Ибо закрылись глаза, в которых таилась неугасимая и несговорчивая пагубность, и воспоминания обо всем, что было до времени Кощея, и неразглашенное знание, которое лишенный сил Тупан разделял с одним лишь проворным молодым Кошеем. Никто не мог с уверенностью говорить об этом. Но шептались, будто они оба отлично знали, что в самом конце Предки вернутся и что только Тупан знал, как и когда...

Но над богами, радующимися на многочисленных небесах и в несметных раях по случаю вновь обретенного всемогущества, намного выше этих пирующих богов стояли Звездные Воители и Стражи Миров, каждый на предназначенном ему месте, и каждый вновь заступил на вечную охрану всех вещей, какие они есть. И Звездные Воители и Стражи Миров рассудительно сказали Кошее:

– Сударь, ваша охрана на посту. Вы охраняетесь в качестве руководителя всего существующего и всего, что еще не сотворено. Вы охраняетесь в качестве обитателя царства, вращающегося вокруг Тех, кто находится надо всем Сокрытым. Ибо сейчас Предки вновь спят, и нигде ничто новое никогда не получит власти над вами, являющимся нашим единственным властелином. И все, какое оно есть, навсегда останется вашим.

Кошей довольно-таки рассеянно ответил:

– Какая нужда была беспокоиться? Разве я не сделал свои создания мужчинами и женщинами? И разве я не создал уз между ними – связей, которые я сплел из любви и ненависти? Эх, господа, это прочные связи, и хотя все-все висит на них, эти плетения выдерживают любой груз.

Они же ему ответили:

– Несомненно, ваши плетения, сударь, выдерживают любой груз. Однако вы не радуетесь, как мы.

– Но, – сказал Кошей, – но я терпеть не могу явной неучтивости! И осмотрев мои произведения, этот малый вполне мог бы сказать что-нибудь разумное. Никто не против честной критики. Просто же ничего не сказать – это, знаете ли, довольно-таки глупо!

Ибо говорят, что Кошей тоже, по-своему, был художником.

Глава XIX

Полное урегулирование

Но менее крупный художник, Мирамон Ллуагор – вновь могущественный кудесник в своей башне из слоновой кости и вновь превосходящий всех создателей сновидений в этом мире – ничего не знал о том, какой беспорядок он произвел в произведениях Кощея, создавшего все таким, какое оно есть. Мирамон лишь знал, что на черном каменном кресте беспокойно жужжали три пчелы, у которых теперь не было ни блеска, ни власти, чтобы исполнить чьи-либо желания; и что его жена Жизель тоже шумит – не просто беспокойно, а в бешеном гневе.

– Милую шутку ты со мной сыграл! – сказала она. – О, мне жаль женщину, вышедшую замуж за художника!

– Но зачем ты постоянно вмешиваешься в то, чего не понимаешь? – спросил он так же беспокойно, какими были проклятые пчелы, так же сердито, какой была несносная женщина.

И они продолжали жить во многом так же, как и прежде...

Они продолжали жить во многом так же, как и прежде, поскольку, по выражению Мирамона, Норны, несмотря на всю свою силу, были неспособны выдумать для него судьбу более непоколебимую, чем он сам (как любой другой женатый мужчина, удерживающий свое положение без крови) выдумал при всей своей слабости. То, как умрет Мирамон Ллуагор (сказал он), предписано и неизбежно, поскольку он – один из Леших. Но то, как он живет (обнаружил он, покраснев от стыда), равным образом предписано и неизбежно, поскольку он также был и супругом. Короче, он питал неприязнь к этой женщине; она стесняла его жизнь, она мешала его искусству, и с ее дурацкими представлениями о его искусстве она теперь растратила его бессмертие. Но он к тому же обожал ее, и он к ней привык.

Мирамон, так или иначе, прибег к своей знаменитой поговорке, гласившей, что секрет успешного брака заключается в том, чтобы уделять как можно больше внимания чужим женам. И из этой аксиомы он извлек предельно возможное утешение. Он мог бы (размышлял он) быть женатым на этой болезненной, увечной, невзрачной Ниафер, которая на Юге опрокинула все известные обычаи Пуактесма своим неослабевающим благочестием и которая действительно навязала своим близким такой добропорядочный и здоровый образ жизни, о котором Жизель в худшем случае только говорила. Похоже, Ниафер, в самом деле, стала совершенно ненормальной. До Мирамона доходили весьма любопытные истории, касающиеся вздора, который эта женщина несла – помимо прочих безумных фантазий! – о том, как ее пучеглазый муж должен вскоре вернуться в другом воплощении... Или Мирамон, вместо своего пропавшего товарища, Керина Нуантельского, мог бы жениться на этой крошке Сараиде, которой удалось настолько искусно избавиться от мужа каким-то необъяснимым образом и которая теперь обеспечивала беднягу Керина сонмом внебрачных наследников... Да, Мирамон размышлял (в отсутствие Жизели), что ему могло бы быть, по крайней мере умозрительно, гораздо хуже. Однако чуть позднее, по возвращении Жизели, эта вероятность казалась все более и более сомнительной.

Одним словом, они продолжали жить во многом так же, как и прежде. И Мирамон, превосходя всех создателей сновидений в этом мире, был страшным властелином. Но у себя дома он не был страшен и весьма определенно не отличался превосходством над кем-либо.

Затем, когда пришло назначенное время, с Мирамоном случилось то, что было суждено, и его убил собственный сын Деметрий заколдованным мечом Фламбержем. Ибо это, как говорят, давным-давно было предписано Норнами, прядущими судьбу всех живущих; им было безразлично, что Мирамон Ллуагор превосходит всех создателей сновидений в этом мире, поскольку Норны никогда не спят; и ни один кудесник, какой бы беспорядок и кавардак он ни устроил в избранных расчетах Кощея, в конечном счете не обладает такой властью, чтобы противостоять Норнам.

Затем Деметрий отправился за море в Анатолию. И там он женился на Каллистионе, а еще он заслужил прекрасную репутацию за свою смелость и хитрость. И в последующие годы он (какое-то время) беспрестанно процветал и благодаря шутке о Приапе сбил спесь с одного языческого императора, чтобы

возвысить вместо него другого императора с более развитым чувством юмора. Деметрий обладал большой властью и множеством земель, и он был безжалостным господином всей страны между Квезитоном и Накумерой. Там он представлял верховную власть, так же как на Врейдексе верховную власть сосредоточил в своих руках Мирамон Ллуагор. Деметрий хвастался, что не боится никого ни в одном из миров ниже и выше себя, и это хвастовство было правдой.

Однако ни одно из этих превосходных качеств не смогло пригодиться Деметрию, когда пришло время и когда судьба поразила Деметрия таким образом и в такой миг, какие избрали Норны, и когда он, лишивший жизни отца огромным мечом, в свою очередь расстался с жизнью благодаря тонкой проволоке. Ибо это тоже, как говорят, было предписано Урд, Верданди и Скульд, сидящими за пряжей под Иггдрасилем рядом с резной дверью Дома Силана. И к этой присказке любящие поучать добавляют, что ни один воин, какой бы беспорядок и кавардак он ни устроил в человеческих расчетах, в конечном счете не обладал такой властью, чтобы противостоять Норнам.

Именно этот Деметрий женился помимо многих других женщин на старшей дочери дона Мануэля Мелиценте, о чем повествуется в сказании о ней.

Книга Четвертая

Котт в Поруце

*«И наполнилась земля его идолами; они поклоняются делу
рук своих, тому, что сделали персты их».*

Исайя, 2,8

Глава XX

Идолопоклонство ольдермена

Теперь рассказ опять о Котте и о том, как Котт отправился на Запад, чтобы вернуть дону Мануэля в Пуактесм, который, как утверждал Котт, тощие женщины, святые люди и лживые поэты сделали совершенно непригодным для житья. Вероятно, Котт таким образом более или менее говорил о самой графине Ниафер, а также о Святом Гольмендисе и благочестивом Нинзияне и о самой добродетельной, но далеко не тучной госпоже Бальфиде, жене Нинзияна, поскольку эти трое теперь во всем стали советчиками госпожи Ниафер. Несомненно, что в те дни дон Мануэль уже стал легендой. И поэты повсюду восхваляли его доблесть, мудрость и превосходные качества во всех житейских делах.

Но Котт Горный покрутил усы, с неодобрением покачал своей большой лысой головой и очень быстро уехал ото всех этих преобразований Пуактесма и его господина, которого его сердце помнило и желало. Котт Горный отправился на Запад без спутников, странствуя в одиночку по суше и по морю. Вначале Котт прервал свое путешествие в Сорче, где он стал спутником Кредхи Рыжеволосой; оттуда он отправился на Остров Горбуний, и на этом острове (в действительности полуострове) он пережил множество и наслаждений, и неприятностей с одной шлюхой по имени Бар, женой Эгира. Но ни в одном из этих царств Котт не получил никаких достоверных сведений о доне Мануэле, хотя повсюду и ходили слухи о его недавнем уходе. Затем в Кушавати, сумрачном месте с шелестящими листьями и очень нежным колокольным звоном, Котт нашел с помощью госпожи Абонды атлас, который впоследствии и служил ему проводником.

Короче, Котт двигался все время на Запад со случайными остановками, чтобы отдохнуть, или сококупиться, или подраться, – с естественными сопутствующими обстоятельствами любого путешествия. В некоторых краях он находил лишь ничем не подкрепленные сообщения, вроде тех, что такой человек, как дон Мануэль, проходил тут совсем недавно; в других краях сообщений и вовсе не было. Но после того что Абонда показала ему в том уединенном месте под шелестящей листвой, у Котта имелась причина твердо верить атласу и картам.

Так он продолжал путешествие на Запад с разными, достаточно занятыми приключениями, случавшимися с ним в Лейме, Скеафе и Адрисиме. Он был сильно опечален в Мурнифе, Стране Клейменных Тел из-за распространенного там религиозного обычая и девушки по имени Фельфель Расиф Иедуя; а в Ран-Райгане одноногая царица Зелела на какое-то время заточила его в свой гарем из пятидесяти красавцев-мужчин. Однако, в основном, Котт продвигался вполне успешно, отчасти потому что повсюду читил религиозные обычаи, но главным образом благодаря картам и своим природным данным. Последние делали его способным сносно вести дела со всеми мужчинами, затевающими ссору, и со всеми женщинами, которых он считал нужным задобрить или удивить. И до самого Нижнего Ярольда, и даже до Красного Хайкара карты служили ему верными проводниками, пока Котт волей-неволей не перешел через границу последнего и не попал в страну, которой не было на картах; и таким образом, он подошел, хотя и не знал об этом, к городу Поруце.

А близ Поруцы Котт нашел каменное изваяние, стоящее в пустынном поле, поросшем перцем. Среди этих растений повсюду, весьма удручающе, были разбросаны обугленные бедренные кости, ребра и другие более мелкие принадлежности человека. А перед изваянием на большом жертвеннике с высеченными на нем черепами находились остатки других сожженных подношений.

Это изваяние представляло собой сидящего и почему-то недостаточно одетого великана, высеченного из черного камня. В уши его были вдеты золотые и серебряные серьги, лицо было раскрашено пятью поперечными желтыми полосами, а в пупок был вставлен огромный сверкающий самоцвет, который мог запросто оказаться изумрудом. Таково было сдержанное облачение этого великана. Кроме того, в правой руке изваяния находились четыре стрелы, а в левой – любопытное опахало, сделанное из зеркала, окруженного зелеными, желтыми и синими перьями. Котт никогда прежде не видел таких идолов.

«Впрочем, в этой незнакомой мне религии, – размышлял Котт, – без сомнения, существует огромное количество неизвестных богов. Они могут не иметь большого веса, но госпожа Абонда научила меня, что в

религиозных вопросах путешественник ничего не теряет, будучи учтивым».

Котт опустился на колени. Он присягнул изваянию на верность и в молитве попросил у него защиты при поисках своего пропавшего сеньора. Котт услышал, как чей-то голос сказал:

– Твоя присяга принята. Твои просьбы будут исполнены.

Котт, по-прежнему стоя на коленях, поднял голову. Он увидел, что громадное черное изваяние рассматривает его живыми глазами и что рот этого изваяния сейчас представляет собой подвижную пурпурную плоть.

– Твои мольбы будут исполнены в полной мере, – продолжало изваяние, – поскольку ты первый человек с бледной кожей и в любопытной одежде, перешедший через границу карты и поклоняющийся мне. Подобные благочестивые инициативы следует поощрять. И я щедро тебя награжу. Лысый человек с длинными усами, обещаю тебе, поклявшись Звездными Воителями и даже Словом Цици-Миме, что ты будешь править всей страной Толлан. Так и договоримся. А теперь Расскажи-ка мне, кто ты такой.

– Я – Котт Горный, ольдермен Сен-Дидольский. Я следовал за доном Мануэлем Пуактесмским, о котором поэты в наши дни говорят так много возмутительной лжи. Я следовал за ним до тех пор, пока он ехал на Запад в дальние края по ту сторону заката. Сейчас я по-прежнему следую за ним, поскольку верен своей клятве. И я появился на Западе не для того, чтобы править этим заморским краем, но чтобы добыть сведения о моем господине и вернуть его в Пуактесм.

– От меня ты не получишь таких сведений, ибо я никогда не слыхал об этом Мануэле!

– В таком случае, какое же ты божество!

– Я – Яотль, Капризный Владыка, Враг с Обеих Сторон. Это мое Место Мертвых. Но я обладал властью повсюду в этом краю, и я получу обратно всю власть в этом краю, когда изгоню Пернатого Змея.

– Тогда позволь сказать тебе, мессир Яотль, что ты мог бы с большой выгодой добавить к своей власти знание, являющееся достоянием всех цивилизованных людей. Негоже такому божеству никогда не слышать о моем сеньоре Мануэле, величайшем из военачальников и основателе Братства Серебряного Жеребца, членом которого имею честь быть и я. Подобное невежество кажется мне допустимым для простых смертных. Для божества же оно совершенно недопустимо.

– Я лишь сказал...

– Не надо меня перебивать! Какой ты бог, если вмешиваешься в религиозные обряды людей, стоящих перед тобой на коленях! В моей привычке, сударь, появляясь в чужой стране, относиться учтиво к богам этой страны. И поэтому я неплохо изучил манеры, подобающие божествам при таких обстоятельствах. Когда люди молятся божеству, следует проявлять более учтивые манеры и определенную благовоспитанную сдержанность.

– Убирайся прочь! – сказала изваяние Яотля. – И прекрати меня поучать! Иди в Поруцу, где живут тольтеки и где, возможно, слыхали о твоём доне Мануэле, поскольку тольтеки тоже дураки и поклоняются Пернатому Змею. А когда ты станешь императором страны Толлан, возвращайся и помолись мне более учтиво!

Котт поднялся с колен в сильном негодовании.

– Я присягнул тебе на верность, будучи свободным от предрассудков в религиозных вопросах. Это лишь малая толика вежливости, рекомендованная госпожой Абондой, и я вовсе не имел в виду...

Изваяние ответило:

– Никого не волнует, что ты имел в виду, важно лишь то, на что ты присягнул. Я принял твою присягу, и делу конец.

– ...И ни на каких условиях, – продолжил Котт, – не согласился бы я стать императором этого заморского края. Что же касается всего остального, скажи мне немедленно, что ты имел в виду, говоря: «Тольтеки тоже дураки», поскольку я не понимаю этого «тоже».

– Но, – устало сказала изваяние, – но ты должен стать императором, раз я поклялся клятвой Звездных

Воителей. Не отрицаю: я погорячился, но, несмотря на это, я сказал так и дал нерушимую клятву, и с этим покончим.

Котт же ответил:

– Чепуха!

– Теперь ты, – продолжало изваяние Яотля, – находишься под моей защитой, и чтобы удостоверить это, я обязан наложить на тебя три условия воздержания. Мы сделаем их очень легкими, поскольку это чистая формальность. Я прикажу тебе воздерживаться от таких поступков, которые ни один нормальный человек никогда и не мечтал совершить при любых обстоятельствах. И, таким образом, никому не будет причинено неудобство.

Котт же крикнул:

– Ерунда!

– Итак, ты не должен посягать на божественные привилегии и не ходить при людях голым; ты должен избегать любых дел, связанных с зелеными перцами, которые видишь вон там, по той причине, что они – священные растения моего бесценного пасынка Цветочного Принца; а третье условие воздержания, которое я сейчас накладываю на тебя, я не открою, поскольку ты определенно найдешь его даже еще более легковывполнимым, чем остальные два. Я все сказал.

– Я отлично знаю, что ты все сказал! Но ты сказал галиматью. Ибо, если ты думаешь, что я испугаюсь тебя и твоих идиотских условий!..

Но тут Котт увидел, что изваяние закрыло глаза и невозмутимо окаменело, больше не обращая на него внимания.

Глава XXI

Выгоды торговли перцем

От подобной неучтивости Котт переменял негодование на ярость. Какое-то время он обращался к идолу в выражениях, которые ни одна личность, божественная или человеческая, не смогла бы назвать почтительными. Он собрал с растений вокруг себя охапку зеленых перцев, разделся донага и оставил одежду на жертвеннике с черепами. Он вошел в город Поруцу совершенно голым, уселся на базаре и стал кричать:

– Покупайте зеленые перцы!

Никто из тольтеков не препятствовал ему, поскольку горцы из Уро, Ипаля и Тиапаса обычно приходили в Поруцу одетые почти так же легко. И было совершенно очевидно, что этот бледнокожий чужеземец с голой, большой, круглой и розовой головой пришел без оружия, если не считать природного снаряжения.

Котт продал перцы и стал ходить по базару, расспрашивая о доне Мануэле, но никто из этих черных, как смоль, или бронзоволиких людей, похоже, никогда не слышал о седовласом герое. Когда базар закрылся, Котт поднялся на холмы, окружающие Цацитепек, в сопровождении полногрудой, кареглазой, прелестной девушки, продававшей на базаре жеруху. Она оказалась очень бойкой, и Котт провел с ней четыре дня к их взаимному удовольствию.

На пятый день он возвратился, по-прежнему совершенно голый, в чем мать родила, на базар в Поруцу. И там он опять продавал зеленый перец, чтобы надменный Яотль мог не сомневаться в отношении того, как оценил Котт покровительство этого бога.

И какое-то время все шло довольно хорошо. Но вскоре на базаре появилось семеро солдат, подошедших к тому месту, где Котт как раз раскладывал последнюю дюжину перцев. И командир солдат сказал:

– Наш император желает говорить с тобой.

– Ну что ж, – ответил Котт, – сегодня я закончил работу и вполне могу уделить ему пару минут.

Он охотно пошел с этими солдатами, а они привели его к императору Уэмаку.

– Кто ты такой? – спросил первым делом император. – И что ты делаешь в Поруце?

– Я чужестранец по имени Котт Горный, торговец зеленым перцем, а пришел я сюда продавать зеленый перец.

– Но почему ты вошел в мой город, не имея на себе ни накидки, ни набедренной повязки и, по сути, ничего, кроме хмурого вида?

– Из-за условий воздержания, наложенного на меня одним опрометчивым черным мошенником со стрелами и опахалом с зеркалом внутри, назвавшимся Яотлем.

– Будь благословенно имя этого бога! – сказал благочестивый император Уэмак. – Хотя мы поклоняемся Пернатому Змею, а не Капризному Владыке.

Затем Уэмак продолжил объяснять, что его единственная дочь пять дней назад рассматривала Котта сначала из окон дворца, а позднее спустилась, накинув вуаль, на базар – для того, чтобы вблизи обозреть этого, в сущности, розового человека. Вернулась она ошеломленная, в некотором возбуждении и попросила отца отдать этого странно покрашенного и необычайно одаренного продавца зеленого перца ей в мужья. Уэмак согласился исполнить ее просьбу, поскольку никогда ни в чем не отказывал своей дочери и страстно желал внука. Но когда послали разыскать розовокожего торговца перца с большой, безволосой, розовой головой, его нигде не нашли.

Принцесса Уцума перенесла это разочарование, при одновременном откладывании свадьбы, крайне тяжело. Короче, как сказал Уэмак, девушка заболела от любви, шесть врачей были не в силах что-либо для

нее сделать, и никто не может ее вылечить (заявила она), кроме того прекрасного подкрашенного и во всех отношениях изумительного торговца перцем.

– Знаете что, вы должны объяснить бедной девочке, что у меня уже есть жена, – сказал Котт, – даже не считая взаимоотношений с торговкой жерухами.

– Не вижу, – признался Уэмак, – никакой связи. В Толлане мужчине разрешено иметь столько жен, сколько ему нужно, конечно же, в разумных пределах.

– Браки не подчиняются разуму, – сказал Котт.

– Затем, в качестве супруга моего единственного ребенка, – сказал Уэмак, – ты будешь править Толланом вместе со мной.

– Ох-хо-хо! – сказал Котт. Ибо, поскольку он пунктуально во всем не повиновался Яотлю, он понял, что это наверняка совпадение, и оно казалось весьма странным.

– И в конце концов, – сказал Уэмак, – если ты будешь упрямиться при такой по-настоящему благоприятной возможности, предоставляющейся торговцу зеленым перцем, нам придется тебя переубедить.

– Но как, – осторожно спросил Котт, – как вы меня переубедите?

Уэмак поднял загорелую руку. Вошли люди в масках, внеся с собой свои орудия и здоровенного раба. Они продемонстрировали свои методы убеждения, и после того как останки раба наконец затихли, Котт тоже на некоторое время притих.

– Из двух зол, – сказал он потом, – выбирают более знакомое. Я женюсь.

Он позволил себя искупать, подровнять себе усы, выкрасить тело черной краской, надушить и установить у себя на большой лысой голове венец из белых перьев несущки. Чресла ему обмотали красной тканью, на ноги какой-то жрец надел раскрашенные сандалии с золотыми колокольчиками, а на благоухающее тело Котта накинули желтую вязаную мантию с неотразимой бахромой.

– В общем, – сказал Уэмак, – когда поужинаешь, иди и утешь мою дочь в ее болезни!

Котт повиновался и обнаружил принцессу, оказавшуюся, как все жгучие брюнетки, очаровательной девушкой, лежащей и плачущей на основательной двухспальной кровати. Котт повесил на крючок в стене свой венец из белых перьев несущки, кашлянул и вновь посмотрел на плачущую принцессу.

Котт сказал:

– Я тронут, моя дорогая, такой привязанностью ко мне. Привязанность ко мне в этом краю полулюдей есть показатель здравого ума. – Он вновь кашлянул, вероятно, чтобы скрыть свои чувства, и добавил: – Привязанность ко мне весьма стесняет меня. Поэтому потеснись немного!

Принцесса, по-прежнему плача, освободила ему место. Он сел на кровать и стал утешать принцессу. Она в свою очередь начала выражать ему признательность за его утешения. Он повесил на крючок желтую мантию и красную набедренную повязку.

Наутро от недомогания принцессы Уцумы не осталось и следа, не считая основательной, но приятной усталости. И еще до полудня Котт женился на принцессе Уцуме и был препровожден в храм Пернатого Змея, а там получил императорское имя Товейо и был коронован как соправитель всего Толлана наряду с Уэмаком.

Однако после этого священнослужителями и всем населением Поруцы была разыграна довольно любопытная церемония, называемая, как осведомила Товейо его смуглая прелестная невеста, Праздником Метелок, для того чтобы гарантировать плодovitость брака их принцессы.

– Я считаю эту церемонию излишней, – сказала Уцума, все еще зевая. – Но эта церемония предписана свыше Богиней Грязи. И я к тому же считаю, мой чудесный розовый красавчик, что особам нашего высокого звания подобает поощрять все истинные религиозные чувства и, как правило, позволять исполняться воле богов.

Между тем, эти обряды открылись обезглавливанием очень миловидной молодой женщины, с тела

которой затем сняли кожу – двумя половинами, словно ужасающие корсет и панталоны. В качестве таковых их носил остаток церемонии один жрец. И чем меньше будет сказано здесь об этом Празднике Метелок, тем лучше, но нельзя не сказать, что окрещенному именем Товейо большая его часть показалась патологически нескромной.

Глава XXII

Пляска Товейо

Первым официальным действием Товейо стала отправка послов к соседям-королям – Кокошу, Напальцину и Акольхуа (второму с таким именем), но ни один из них не сообщил ему никаких сведений о доне Мануэле. Между тем, Котт лелеял свою молодую жену и обращался со всеми окружающими также в соответствии со своей природой.

О его в некотором роде замечательном поведении на войне с Какатом и Коатом, о том, как во время очередного припадка гнева он разрушил мост со стоящими на нем людьми и о том, как он убил десятерых своих подданных мотыгой, здесь нет нужды говорить. Но так уж получилось, что еще до окончания медового месяца молодоженов депутация от тольтеков стала умолять Уэмака как бы ненароком убить своего зятя.

– Невозможно, – сказали они, – больше выносить его и его вспышки гнева.

– Таково, – согласился Уэмак, – и мое мнение. Боюсь, правда, что если мы его убьем, моя дочь расстроится, ибо она, похоже, открыла в нем какую-то грань огромной и неисчерпаемой привлекательности.

– Лучше, ваше величество, чтобы она поплакала, чем бы мы все сошли с ума. Гордыня и самомнение этого человека невыносимы.

– Никто не знает это лучше меня. Он задирает меня в моем собственном дворце, где я не привык позволять ездить на себе никому, кроме своей дочери. В создавшемся положении мы должны поступить довольно хитро. Первым делом мы должны сделать так, чтобы этот Товейо оказался унижен в глазах моей дочери. После этого, насколько я ее знаю, она позволит нам от него избавиться.

Тут один из наиболее смуглых тольтеков, назвавшийся Таль-Кавепаном, сказал:

– Сейчас этот всевластный Товейо находится на базаре. Следуйте за мной, и вы увидите его униженным и в глазах его жены, и в глазах всех окружающих.

Все последовали за ним, спрашивая друг у друга, кто такой этот громадный Таль-Кавепан, что говорит так смело. Никто не помнил, чтобы видел его прежде. Между тем, Таль-Кавепан подошел к тому месту, где Котт и его августейшая жена Уцума торговались с одним лотошником из-за дыни. Таль-Кавепан положил руку Котту на плечо и надавил на него. Котт начал становиться все меньше и меньше, так что вскоре Таль-Кавепан наклонился и подобрал этот источник неприятностей, который здесь называли Товейо, и вот так показал тольтекам их грозного угнетателя в качестве розового карлика не больше четырех вершков ростом, стоящего на черной ладони Таль-Кавепана.

– Пляшите, ваше величество! Пляши, ужасный властелин! – сказал Таль-Кавепан. И Котт стал плясать для всех. И пока он плясал, то жутко ругался, но его голосок напоминал писк птенца.

Вокруг него собралась толпа, поскольку таких чудес прежде в Поруце не видывали. Таль-Кавепан весело крикнул императору Уэмаку:

– Разве это дурачится не ваш зять, униженный в глазах его жены и всех окружающих?

Уэмак крикнул своей охране:

– Убейте этого кудесника!

Солдаты повиновались императору. А принцесса Уцума схватила своего крохотного мужа и сунула от греха подальше за лиф своего пурпурного платья, пока этого Таль-Кавепана с энтузиазмом отправляли на тот свет.

Глава XXIII

Прискорбное поведение трупа

Теперь громадное тело Таль-Кавепана лежало там, где было брошено, и оно мгновенно начало разлагаться, испуская потрясающую вонь.

– Уберите эту чертову падаль из моего города! – приказал Уэмак стражникам. – Как бы она не породила в Поруче чумы.

Но когда все вновь попытались подчиниться приказу императора, то обнаружили, что тело очень тяжелое и никакой силой не оторвать его от земли. Поэтому тольтеки в беспомощности оставили труп на своем базаре. А чума в виде небольшого желтого вихря втихомолку понеслась по городу, и многие сотни людей умерли.

Оставшиеся же в живых оказались не в силах помочь друг другу, и молили о помощи Пернатого Змея, и на каждом из семи святых мест ему приносили в жертву грудных младенцев, украшенных лентами и полосками из соответствующе раскрашенной бумаги. Но чума продолжала свирепствовать.

Тогда тольтеки совершили еще более значительное жертвоприношение: сердца откормленных, действительно ценных рабов и военнопленных, каждый из которых был должным образом раскрашен голубыми и золотыми полосами, поднесли древним и в чем-то старомодным богам – Убийце-Левше и Творцу Ростков. Затем, когда чума принялась свирепствовать еще сильнее, тольтеки отчаялись и на пробу обезглавили восемь наименее знатных придворных, предварительно содрав с них кожу, в честь нового бога, называвшегося Яотль, Капризный Владыка, Враг с Обеих Сторон.

При этом мертвый Таль-Кавепан воскрес и сказал:

– Привяжите ко мне канаты, сплетенные из черных и красных жил, вы, почитающие Пернатого Змея! И когда пятьдесят человек сделают то-то и то-то, – он очень подробно оговорил, что они должны делать друг с другом, – тогда перетащите мое тело к Месту Мертвых, которое является местом Яотля. Там сожгите мое тело на жертвеннике и тогда чума закончится.

Тольтеки повиновались. Пятьдесят человек, образовав круг, стыдливо совершали необходимые непотребства, и пятьдесят человек тянули двухцветные канаты, но труп по-прежнему не двигался с места. И вновь заговорил Таль-Кавепан:

– Приведите императора Уэмака, приговорившего меня к смерти!

Явился Уэмак, а вместе с ним пришла и его дочь.

– Приветствую тебя, Уэмак, сын Имоса по линии Чана и из рода Чивима! – сказал труп. – Кажется, эти хилые сироты, ослабевшие от долгого поклонения Пернатому Змею, не в силах после одного незначительного жертвоприношения Капризному Владыке сдвинуть меня с места. Поэтому необходимо, чтобы их широкоплечий, сошедший с небес император оттащил мое тело к Месту Мертвых и там сжег его на жертвеннике Яотля.

– А что станет в Месте Мертвых со мной? – спросил Уэмак.

Труп улыбнулся.

– С того святого места император отправится в долгое путешествие. После над всем Толланом, как и предсказывалось, будет царствовать его зять. Ибо император Уэмак будет странствовать далеко отсюда, он будет путешествовать между двух гор и за логовом змеи и крокодила, вплоть до Девяти Вод, которые он пересечет на спине красной собаки. Да император Уэмак никогда и не вернется из этого путешествия!

Уэмак слегка задрожал. Но он сказал:

– Справедливо, что скорее император должен умереть, чем его народ погибнуть. Я не буду уменьшать свое тело, но твое тело я отащу в Место Мертвых, и я стерплю все последующее.

Тут, словно щебечущий птенец, из-под платья своей жены закричал Котт:

– Такие речи очень хороши, но где уверенность, что эта куча навоза говорит правду?

Труп ответил:

– Тебе, Товейо, я клянусь, что, когда император Толлана оттащит мое тело в Место Мертвых, чума прекратится. И я клянусь также, что император никогда не вернется. Так что вместо него будет царствовать его зять, точно как и предсказывалось.

– Ого! – сказал Котт. – Все так, как я и думал, и никто ничего не гарантирует, кроме тебя! Честное слово, брось нас стервятникам, если нас хоть как-то волнует исходящее из твоих уст! Какой клятвой может поклясться падаль, чтобы все ей внимали!

Огромный труп при пискливых насмешках карлика беспокойно зашевелился. Но голос Таль-Кавепана лишь произнес:

– Клянусь клятвой Звездных Воителей и даже Словом Цици-Миме.

– Ах-ах! – сказал Котт. – Опустите меня, дорогая женушка! – Тут Котт, крошечная розовая кукла, пошел к дурнопахнущему черному трупу, а смуглая любящая Уцума последовала за ним. Котт встал в величественную позу, облокотившись о подъем ноги своей жены и крутя ус. Котт сказал: – Ты поклялся, Яотль, своей нерушимой клятвой, с которой и начались все эти неприятности. Отлично! Я сопровитель Толлана. Я такой же император, как и Уэмак. И именно я оттащу тебя для сожжения, которого ты вполне заслужил; и именно мне твоя клятва помешает вернуться в эту адскую Поруцу, где с человеческим ростом совершают такие неуместные вольности, а люди к тому же слишком любят пляски.

– Но, – сказал труп, – я имел в виду другого императора!

Котт ответил:

– Ерунда! Никого не волнует, что ты имел в виду, важно только то, в чем ты поклялся.

– Но, – сказал труп, – но ты, зловредный розовый прыщ!..

Котт же ответил:

– Не отрицаю, что ты говорил легкомысленно. Но при всем при том, ты поклялся нерушимой клятвой, и делу конец.

Котт ухватился крошечными пальцами за двухцветные канаты. Но когда он дернул за них, Котт начал расти. И чем сильнее он тянул за канаты, тем больше становилась его фигура, чтобы честь Капризного Владыки смогла оставаться неопозоренной и Яотля бы изгнал из Поруцы не карлик. И тут труп сдвинулся с места. И толтеки увидели упрямо тянущего эти черно-красные канаты высокого, хотя и коротконого героя с необычайно большой и блестящей розовой головой. Перед ними несли маленький желтый вихрь, а позади него волочилась ужасная черная гниющая куча. Вот так Котт прошел через восточные ворота города.

– Исполнилась воля богов! – сказал Уэмак. – Особенно если учесть, что это во всех отношениях замечательное избавление. – Все согласились с его благочестивым высказыванием. – Заприте городские ворота! – приказал затем Уэмак. – Поставьте на них новые засовы, чтобы мой зять не вернулся к нам вопреки воле богов. А ты, моя милая Уцума, поскольку ты одна что-то потеряла в этом деле, хотя наверняка – к счастью, ты получишь другого мужа более приличной величины, а по сути, ты можешь получить столько мужей, сколько пожелаешь, моя дорогая, чтобы вырастить для нас в Поруце наследника и императора, который после меня станет править всем Толланом.

Уцума же ответила:

– У меня есть повод верить, уважаемый отец, что вопросу о наследнике уже было уделено внимание. Я буду сожалеть о моем розовом Товейо и его великих природных дарованиях, которые для меня являлись неиссякаемым источником наслаждений. И я буду чтить его память, всегда выходя замуж за людей, похожих на него, если только возможно разыскать их в этой вырождающейся стране. Между тем, я совершенно согласна с вами, что особам нашего высокого звания следует поощрять все истинные религиозные чувства и, как правило, позволять исполняться воле богов.

Глава XXIV

Расчетливость Яотля

В Месте Мертвых Яотль сел и задумчиво потер нос. Капризный Владыка уже сбросил зловонную внешность Таль-Кавепана. Сейчас у него был вид, который он имеет на небе, называемом Тамо-Анчан. И когда он сидел напротив черного каменного идола, не было разницы между Яотлем и изваянием Яотля. В пупке бога также сиял зеленый самоцвет, лицо было выкрашено в желтую полосу, а в уши были вдеты золотые и серебряные серьги. Из других нарядов на нем вообще ничего не было надето, но в одной руке он держал стрелы, а в другой – магический кристалл, окруженный длинными перьями трех цветов.

– Теперь, – сказал Яотль, – я открою тебе третье условие воздержания, наложенное на тебя: ты не должен никогда ни под каким предлогом подчиняться моим приказам.

– Это, – с жаром возразил Котт, – нечестное условие. Оно не дает мне шанса обращаться с тобой, как ты того заслуживаешь. Это условие непосредственно бьет по доктрине свободной воли. Условие вероломное и подлое! Если ты хоть одним глазом посмотришь... ты, черный и беспрдельно тупой повелитель плясок!.. даже ты увидишь, что, приказывая любому уважающему себя человеку делать прямо противоположное твоим наиболее абсурдным и деспотичным пожеланиям...

– Я так и думал, – сухо сказал Яотль. – Мне было совершенно необходимо хотя бы как-то защитить свои истинные интересы в краях, над которыми я осуществляю божественную власть. – Тут Капризный Владыка погрузился в молчание, но вскоре послышалось его хихиканье. – В общем, ты обманул меня достаточно тонко, когда я чуть не сделал тебя единственным правителем этой страны. И я к тому же собирался приятно провести время с этим самым Уэмаком! Но все же я сделал тебя императором. И я во всем сдержал клятву Звездных Воителей. Так что делу конец: я освобожден от клятвы, а ты теперь можешь вернуться к себе домой, где люди каким-то непостижимым образом научились тебя терпеть.

– Я не брошу своих исследований Запада, – упрямо ответил Котт, – до тех пор пока не найду своего сеньора, которого намерен вернуть в Пуактесм.

– Но этого никогда не будет, поскольку мы действительно должны сохранять в окрестностях хоть какой-то порядок! А ни один человек и ни одно божество не могут надеяться на настоящий покой в Толлане, пока ты тут неистовствуешь, как лысый розовый бык... Так что позволь обдумать мысль Самого Высокого Места Богов и посоветоваться с волей Теотеш-Калли. К примеру, насчет твоего дона Мануэля...

Яотль некоторое время сидел совершенно неподвижно, думая о чем-то и глядя в магический кристалл. И его мысль, которая являлась мыслью Самого Высокого Места Богов Толлана, воплощалась в облачко серого дыма; и понемногу это облачко превратилось в высокого седого мужчину, одетого в серебряно-серые доспехи и имеющего на своем щите серебряный герб Пуактесма. И в Месте Мертвых Яотля Котт встал на колени перед своим господином.

Глава XXV

Последнее обязательство Мануэля

– Котт, – произнес Мануэль, – самый упрямый и извращенный из всех служивших мне! Котт, всегда служивший мне с ворчаньем, с большой неохотой и с еще большей доблестью! Так неужели это ты, Котт, действительно ли это ты, лысый грубиян и брюзга?

Котт ответил:

– Это я, господин. Я пришел вернуть вас в Пуактесм. И я принимаю очень близко к сердцу, позвольте сказать вам совершенно откровенно, сударь, что вы выражаете удивление, видя меня на моем месте, выполняющим свой долг! Я следую, в соответствии со своей клятвой, за старейшиной Братства Серебряного Жеребца. Мне сказали, что братство распущено по приказу вашей жены. В общем, мы оба знаем, что такое жены. Мы, более того, знаем, что я поклялся следовать за вами и служить вам. И насколько я понимаю, подобное удивление, исходящее от вас, не украшает старейшину, и, господин вы или нет, я хочу, чтобы вы это хорошенько поняли.

На это Мануэль сказал:

– Ты следуешь за мной по всему свету и за край света из-за своей клятвы, ты докучаешь этим богам и вызываешь меня из моего последнего пристанища, а потом начинаешь немедленно мне грозить! Да, это Котт, что служит мне сейчас точно так же, как служил в старину. А что другие, поклявшиеся вместе с тобой, Котт?

– Они процветают, мой господин. Они процветают, и они слушают юных поэтов, устраивающих кошачьи концерты в вашу честь, в своих прекрасных фьефах и замках, которые вы им дали.

– Но только ты, наименее почтенный и наиболее буйный из моих баронов, последовал за мной вплоть до этого далекого Места Мертвых! Котт, однако у тебя тоже есть земли и два замка.

– Ну, они-то сохранятся! Что вы имеете в виду, намекая, что кто-то в мое отсутствие посмеет сунуть нос в мою собственность? Разве я не приобрел здесь империю вообще безо всяких забот? Вы бросаете тень, сударь, на мою доблесть и на мои способности, которые, должен сказать вам совершенно откровенно и для вашего же блага!..

Но Мануэль заговорил довольно-таки грустно:

– Котт, сделанное тобой из-за данной клятвы было совершено благородно и с героическим безрассудством. Котт, ты – герой, но остальные – мудрее.

– Мой господин, существовала же клятва, – голос у Котта чуть дрогнул. – Мой господин, это не только клятва. Существует также великая любовь в вырождающейся стране, где правят мелкие людишки и не осталось никого, подобного Мануэлю.

Но Мануэль сказал:

– Остальные – мудрее. Ты по-прежнему следуешь за тем Мануэлем, который прежде расхаживал по Пуактесму. Сейчас в Пуактесме все забывают того, прежнего Мануэля, и наши поэты заняты совершенно иным Мануэлем, и моя собственная жена построила огромную гробницу для этого другого Мануэля... Котт, так происходит всегда. Любовь, а не легкомысленность просит нас забыть своих умерших, чтобы мы могли любить их более искренне. Нежелательные воспоминания должны быть перекрашены и переделаны, ошибки и промахи, свойственные всем людям, должны быть выкинуты из головы, и к образу усопшего должны быть добавлены чужие достоинства, пока смесь ничем не станет напоминать покойного. Таков путь любви, Котт, дабы сохранить любовь бессмертной... Котт, о бедолага Котт! – сказал Мануэль очень нежно. – Тебе даже не хватает такта почтить своих скончавшихся любимых людей в приличной и благоразумной манере!'

– Я следую за истинным Мануэлем, – ответил Котт, – поскольку поклялся это делать. Здесь присутствует, не могу этого отрицать, сударь, некая страсть, – Котт вздохнул. – В остальном меня не

интересует эта новомодная красивая ложь, которую теперь о вас распространяют.

Затем воцарилась тишина. Ветерок разгуливал среди растущего перца и, казалось, шептал обо всем погибшем.

Тут Мануэль сказал:

– Котт, повторяю тебе, остальные – мудрее. Я ушел – навсегда. Но иной Мануэль пребывает в Пуактесме, и он питается этими небылицами. С каждым годом он становится все выше – это Мануэль, спасший Пуактесм от тяжелого ига норманнов и непристойной дикости. Этот Спаситель Мануэль уже стал самым знаменитым героем без страха, упрека и любого другого недостатка. И с каждым поколением его доброжелательность возрастает. Именно этого драгоценного Спасителя Пуактесм будет любить и стремиться подражать ему. Люди будут смелее, потому что этот Мануэль был таким смелым; и люди в тот или иной миг искушения воздержатся от глупости, потому что его мудрость была так хорошо вознаграждена; и, по крайней мере, несколько человек также воздержатся и от подлости, потому что вся его жизнь была незапятнана.

– Я, – с трудом сказал Котт, – что-то не помню такого Мануэля.

– И я его не помню, старый брюзга. Я не могу забыть лишь того, кто обходился с каждым обязательством по возможности наилучшим образом, и это всегда было весьма безрезультатно. Я вспоминаю множество поступков, которые бы предпочел не вспоминать. И я вспоминаю изможденного бойца, который блуждал, переходя от одной наполовину решенной загадки к другой, несговорчивого и раздражительного, очень ревниво скрывающего свою боль... В общем, лучше такого человека забыть! И я пришел из своего последнего пристанища освободить тебя от твоей клятвы. Я освобождаю тебя от нее навсегда, дорогой Котт, и прошу тебя поступать так же, как все остальные, и отдаю тебе свой последний приказ. Я приказываю тебе тоже забыть меня, Котт, как забыли те, кто мог знать меня лучше, чем ты.

Котт заговорил со странными звуками в горле, которые ошеломляюще напоминали рыдания:

– Я не могу забыть самого дорогого и восхитительного из земных владык. Вы, сударь, требуете невозможного.

– Тем не менее необходимо, чтобы ты – лысый реалист! – тоже служил этому другому Мануэлю и забыл, как забыли твои собратья, того бестолкового и не всегда достаточно умелого борца, этого человека с бычьей шеей, который ушел из жизни, из действительности и из памяти всех людей. Ибо сейчас на меня накладывается последнее обязательство: чтобы от личности, которой я был в этом мире, нигде не сохранилось ни единой частички; и я принимаю это обязательство, и я подчиняюсь обычной доле всех людей, больше уже не сопротивляясь.

Котт сказал:

– Вернитесь к нам, дорогой господин! Вернитесь, и служением прекрасной истине вы положите конец хвастовству и тщетной лжи вашего народа!

Но Мануэль сказал:

– Нет. Ибо Пуактесм теперь имеет, как и должна иметь любая страна, свое вероисповедание и свою легенду, чтобы руководить людьми более благородно и более доблестно, чем когда-либо в прошлом. Я был силен, но у меня не было сил породить эту легенду. Но она сотворена, Котт, она сотворена глупостью женщины и безумным лепетом напуганного ребенка, и она не прейдет.

Котт отрывисто сказал:

– Но, мой господин, мы – люди сего мира, мира, сделанного из грязи. О, мой дорогой господин, мы пробираемся по этой грязи по возможности наилучшим образом! Результаты никого не должны удивлять. Результаты довольно часто необъяснимым образом получаются весьма восхитительными. И этой истиной нужно пренебречь ради тщеславной мечты?

И Мануэль ответил:

– Мечта лучше. Ибо из всех животных только человек обезьянничает в отношении своей мечты.

Глава XXVI

Поражение реалиста

Тут Яотль прекратил размышлять и отложил в сторону магический кристалл. И его мысль сосредоточилась уже не на Мануэле, а в Месте Мертвых не было видно ничего, кроме Яотля, изваяния Яотля и Котта, стоящего здесь в императорском облачении, одинокого, маленького и необыкновенно покорного на вид, между огромными, черными, обнаженными близнецами.

– Кажется, – сказал Яотль, – некоторые люди не сговорчивее богов, когда дело касается выполнения клятвы. Так что Товейо надолго запомнят в этом краю.

А Котт очень тоскливо и тихо ответил:

– Да, такие дураки, как мы с тобой, мессир Яотль, повсюду создают одни неприятности. В общем, я теперь тоже освобожден от своей клятвы! И мой господин говорил ужасно здорово. Известность Мануэля – лишь легенда да громкое звучание слов, которые порой, действительно, звучат неплохо; это тщеславие и неудержимая болтовня его жены и моих седовласых собратьев. И однако этот вздор, возможно, подбодрит людей и всегда будет служить им лучше всякой правды. А моя вера – глупость, потому что из-за какой-то клятвы вроде твоего Слова Звездных Воителей и Кого-то-Там-Еще, сударь, я следовал за истиной по этой ветреной планете, на которой все питаются разновидностями лжи.

– Каждый в соответствии со своими убеждениями, – сказал Яотль. – Так люди выбирают между надеждой и отчаянием.

– Однако убеждения значат очень мало, – ответил Котт темнокожему богу, по-прежнему говоря почти шепотом. – Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из всех возможных миров, а пессимист боится, что это правда. Поэтому я не выбираю ни одного ярлыка. Я просто знаю, что в конце всех моих странствий мне останется только обосноваться в своих уютных замках там, в Пуактесме, и жить в довольстве вместе с красавицей-женой Азрой и сыном Юргеном – этим невинным парнишкой, которого вскоре его старый лицемер-отец, без сомнения, заставит подражать некоему Мануэлю, который никогда не жил! И я знаю к тому же, что это не тот конец, который бы я выбрал для своего сказания. Ибо, полагаю, я также должен теперь скатиться к сытому покою и возвышенным раздумьям, а я бы предпочел правду. – Котт немного поразмышлял, пожал плечами и невесело рассмеялся. – Капризный Владыка; умоляю тебя, скажи, какого рода тварями кажутся богам люди?

– Давай подумаем о более приятных вещах, – ответил Яотль. – Лично я уже думаю о способе, которым смогу быстрее всего доставить тебя, о ненасытный брюзга, в твой далекий дом и убрать из своей, слишком долго страдавшей страны.

Он повернулся огромной обнаженной спиной к Котту для того, как предположил Котт, чтобы предаться размышлениям. Однако Котт почти мгновенно был выведен из заблуждения неким чудом.

Книга Пятая

«Mundus Vult Decipī»

«...не только в сем веке, но и в будущем...»

Послание к Ефесеянам, 1, 21

Глава XXVII

Преображенный Пуактесм

История, по той или иной причине, не увековечивает чудо, которое сотворил Яотль. Боги Толлана всегда были склонны обескураживать людей своими диковинными представлениями о юморе. Вместо этого история рассказывает о том Пуактесме, в который Котт, перенесенный тем благодатным, хотя и зловонным ветром, который создал и направил Яотль, теперь поневоле вернулся один.

За годы Коттова отсутствия произошло много перемен. Официально над этим краем властвовала графиня Ниафер, но она, похоже, во всем управлялась Святым Гольмендисом Филистийским. О близости между графиней и ее тощим, но крепким советником уже больше не было ни сплетен, ни пожиманий плечами: люди привыкли к этому союзу точно так же, как примирились с реформами и запретами, явившимися его плодами.

Котт обнаружил, что теперь, когда тот Мануэль исчез, времена менялись к лучшему с самой неутешительной скоростью. Котту Горному эти дни казались порождающими мелких людишек, которые, разумеется, если вас волнуют такие пустяки, – теперь, когда из Филистии со своими чудесами прибыл этот всеподавляющий Святой Гольмендис, – жили более благопристойно, нежели их отцы. Ибо этот блаженный нигде бы не смирился с каким-либо беспорядком и едва ли вынес бы малейшие проявления чудотворчества у кого бы то ни было. Даже Мудрец Гуврич, который в старые и более откровенные времена принимал участие в колдовстве дон Мануэля, теперь нашел нужным ограничить свое чародейство исключительно частными занятиями.

В общем, можно было проходить по Пуактесму целый день и не встретить ни колдуна, ни феи. Народ Ауделы лишь изредка выходил из огня, чтобы позабавиться над человечеством. И хотя многие люди украдкой занимались чародейством у себя дома, все дела с духами приходилось вести тайком. Короче, в Пуактесме общепринятым стало самое что ни на есть благопристойное поведение, поскольку нельзя было угадать, когда Святой Гольмендис займется тобой ради твоего же собственного блага. И запуганная провинция, как и предрек Гуврич, превратилась во владения буйного блаженного – зачатого, вскормленного и возведенного в святые в Филистии.

Но существовало еще одно выбивающее из колеи сильное воздействие на умы, бесчестно делавшее всех ханжами и паиньками (сказал Котт): Котт обнаружил, и от этого сам мучился, что весь край охвачен всепоглощающей легендой о Спасителе Мануэле. Котт обнаружил также, что самым священным местом края сейчас является величественное надгробие, которое в отсутствие Котта графиня Ниафер воздвигла в Сторизенде в память о своем муже. И даже Котт признал, что это архитектурное клятвопреступление достаточно красиво.

Нижняя половина гробницы с витиеватой резьбой по камню состояла из восьми альковов, в каждом из которых помещались реликвии того или иного святого. Верхняя часть являлась пьедесталом очень изящной конной статуи дон Мануэля, изваянного с поднятым копьём, в полном боевом облачении, но без шлема, так что было видно лицо героя, сидевшего на коне и смотревшего на Север. Таким образом, казалось, что Мануэль вечно охраняет от всякого врага страну, которую он когда-то освободил от норманнов. И никогда не существовало более великолепного на вид богатыря, чем этот монументальный Мануэль, ибо доспехи этого изваяния были украшены драгоценными камнями всех разновидностей и расцветок.

Каким образом госпоже Ниафер, известной чрезвычайной скупостью, удалось заплатить за все самоцветы, никто определенно сказать не мог, но считалось, что их добыл с помощью какого-то благочестивого чуда Святой Гольмендис. Котт Горный с раздражением обозвал их поддельными и заявил, что поддельные драгоценности вполне соответствуют фальшивому погребению. В любом случае, Спаситель Пуактесма удостоился самой величественной гробницы, которую когда-либо знали в этих краях.

И Котт нашел все эти драгоценности и кропотливую резьбу по камню вполне восхитительной в качестве произведения искусства, если интересоваться такими пустяками. Но в качестве могилы он

посчитал ее лишенной, по крайней мере, одной существенной мелочи: ведь она была пуста.

Однако для большинства людей пустота великой могилы представляла собой особую святость. Эта обширная и надменная пустота для большинства людей являлась постоянным напоминанием о том, что дон Мануэль живым вознесся на небо, не будучи подверженным унижению смерти, взяв с собой всю героическую плоть и кость, да и самые крохотные сухожилия неповрежденными. Это чудо, – разумеется, не большее, чем надлежало великому Спасителю, – весьма удовлетворительно и весьма жутко объясняло отсутствие трупа, точно так же как отсутствие трупа являлось твердым доказательством чуда. Тут переплетались величественные истины. И чудо поднялось выше всяких придилок, когда оно впервые было открыто благодаря мудрости Небес, посредством незапятнанной невинности ребенка, поскольку в этом мире при таких людях, какие они есть, любой безбожник мог бы не доверять свидетельству взрослого евангелиста.

Котт, услышав эти аксиомы, неопровержимо признанные в качестве аксиом за семь лет его отсутствия, стал задумчиво смотреть на маленького Юргена, чьей крайней молодости и сравнительной невинности принадлежало это откровение. Юноша неуклонно приближался к возмужалости. Ему во многих отношениях не хватало добродетелей, подобающих евангелисту, и он признавался, что очень смутно помнит ужасное событие своего детства. Хотя подобное едва ли существенно (размышлял Котт), когда Пуактесм так искусно лелеял и разукрашивал историю, которую родной отпрыск принес с Верхнего Морвена, чтобы объяснить свое отсутствие ночью дома.

– Есть только один Мануэль, – замечал про себя Котт, – и – подумать только! – мой Юрген его пророк. Это жалкое вероучение, похоже, теперь всех удовлетворяет, когда сорванец уже больше не спешит с извинениями за гуляния по ночам.

Глава XXVIII

Любимый девиз патриота

В самом деле, за время тщетных поисков Коттом настоящего Мануэля повсюду неуклонно распространялась легенда. Котт приходил в бешенство, когда слышал о непогрешимом и совершенном Спасителе, с которым он прежде жил в ежедневном общении неизбежно скандального и неучтливой свойства. И он к тому же обнаружил, что его собратья по Серебряному Жеребцу, еще оставшиеся в Пуактесме, Нинзиан и Донандр, по крайней мере, начали врать о Мануэле с таким же благочестивым отсутствием меры, как и все остальные. Мудрец Гуврич, конечно же, чопорно соглашался со всем, что утверждали достойные уважения люди, поскольку эгоцентричного старого плута никогда по-настоящему не волновало, что думают остальные. Тогда как было известно, что Хольден и Анавальт всегда стараются перевести разговор на другую тему. Короче, эти стареющие герои сталкивались в лице этой легенды об их прежней славе и привилегиях с непобедимым противником, с которым им, каждому в соответствии со своей натурой, приходилось искать компромисс.

Ибо великий Спаситель Мануэль, который сперва физически спас Пуактесм в битве с норманнами, а затем спас Пуактесм на более возвышенных полях брани, при своем уходе взяв на свою гордую седую голову все грехи своего народа, – этот Мануэль должен был вернуться и вновь принести с собой золотой век, который, как все утверждали, царил в Пуактесме при правлении Мануэля. Это была сладостная, притупляющая рассудок, манящая легенда, это было предсказание, переданное юным шалопаем Коттом, теперь всей душой обратившимся к пророчествам и юбкам. Не было смысла спорить с таким пророческим фанфаронством, поскольку оно обещало всем незадачливым людям то, во что они предпочитали верить. Повсюду в мире люди ожидали последующего пришествия того или иного сомнительного мессии, который устранил те неудобства, с которыми сами они либо из лени, либо по неумению не в силах справиться. И никто ничего не мог добиться, принимая позицию стороннего, вечно недовольного наблюдателя.

Даже Котт это видел. Так что лысый реалист проинспектировал свой погреб и предпринял сходную процедуру в семьях своих вассалов на предмет подающих надежды девушек. Он выдал такие распоряжения, которые казались наилучшими в свете обеих проверок. И он устроился настолько уютно, насколько это было возможно, чтобы дожить до преклонного возраста в этой стране дураков. Он, на худой конец, мог получать искомые удобства, проистекающие из этих бочек, и благосклонности дружелюбных, сообразительных наперсниц. Азра утомляла его не больше, чем любая жена, а его юный Юрген, в конечном счете, мог оказаться лучше, чем казалось.

Так что в итоге Котт позволил плаксивым полоумкам заявлять все, что им заблагорассудится о славном пребывании на земле и втором пришествии Спасителя Мануэля, и Котт отвечал им, в худшем случае, нечленораздельным рычанием. Но о том, что любовь старого грубияна к Пуактесму осталась неизменной, свидетельствовал пыл, с каким он теперь повелел обильно украсить два своих дома гербами Пуактесма, так что при любом повороте головы взгляд падал на вставшего на дыбы серебряного жеребца и знаменитый девиз этой страны: «Mundus vult decipi». Такой патриотизм, как говорили все, свидетельствовал, что, несмотря на придиричивость, сердце у Котта на своем месте.

Глава XXIX

Эволюция брюзги

А рассказ по-прежнему о Котте и повествует теперь о том, как он избежал двора Ниафер, а также внешних приличий и благочестия, которые были там в моде, и как он благоразумно предавался излишества в своих собственных цитаделях.

Котт больше не сражался, но у него не было недостатка в иных удовольствиях. Он охотился в Акаирском Лесу и частенько разъезжал по полям Руаня в своей богатой лисьей шубе, с гончими и соколами. Он устроил превосходную медвежью яму, в которой дикие кабаны и медведи дрались и убивали друг дружку для его развлечения. Когда стояла теплая погода, он пил и забавлялся игрой в кости и в триктрак у себя в ухоженном саду. Зимой он уютно располагался у своего огромного камина. И на благо его здоровья ему ставили банки и пускали кровь, а ольдермен Сен-Дидольский тихо и неуголимо пил горькую.

К тому же Котта то и дело забавляло приведение в исполнение приговоров его вассалам на изящной виселице – эта знаменитая виселица стояла на четырех столбах, хотя его ранг ольдермена позволял ему иметь только два столба, – поскольку эта малая толика надменности в вопросе двух лишних столбов являлась постоянным источником раздражения его формального повелителя – госпожи Ниафер. Но, в конце концов, свое главное занятие на досуге Котт нашел в стремлении превзойти очень древних и весьма известных монархов, Юпитера и Давида, постоянно меняя женщин. И прекрасные пуактесмские девушки оставались, как и всегда, его вечной отрадой.

И к тому же ежедневно ольдермен Сен-Дидольский бранился с женой и сыном, а так как он везде мог обнаружить благодатные основания для придирок, то находил в этом достаточное утешение.

В этот период он, со своими сардоническими наклонностями, забавлялся, замечая, как степенно процветает Пуактесм благодаря фанатичной вере в спасителя Мануэля, который в прошлом уничтожил все заботы и обязательства и который вскоре придет вновь и без сомнения для того, чтобы подобающим образом подчистить всеобщее моральное состояние. Поэтому не было настоящей необходимости беспокоиться о будущем, да и о любых мелких личных проступках (которые еще не стали общеизвестными), поскольку они, конечно же, подпадут под общую амнистию, когда Мануэль возвратится, чтобы заняться делами своего народа.

Но, однако, существовала еще одна, более тревожная сторона этого дела. Молодежь тут и там начинала в меру сил стараться превзойти того Мануэля, который никогда не жил. Это Котт тоже видел довольно ясно. Он видел, как молодые люди – тут и там – проявляют черты характера и привычки, достаточно чуждые, а то и вовсе неизвестные опытному старому распутнику. Например, повсюду распространялась весьма тошнотворная эпидемия вежливости: красивые сильные парни, разошедшиеся во мнениях по тому, или иному, или еще какому-то поводу, вместо того чтобы благоразумно прибегнуть к дуэли, остужали пыл, сев рядом, чтобы изучить чужую точку зрения, а после этого зачастую вообще отговаривали друг друга от поединка. Это происходило из-за прославленной вежливости Мануэля, которую мошенник, в самом деле, выказывал, извлекая из нее превосходную выгоду.

Или можно было увидеть, как люди извинялись и даже помогали тем, кто их оскорбил или обидел, они поступали так из-за прославленной мануэлевой терпимости к своим ближним. И повсюду также распространилось совершенно беспочвенное и тошнотворное представление относительно отбирания, при большом желании, чужой собственности. Можно было увидеть, как здоровенные молодые люди избегали обычных удовольствий юности или, во всяком случае, их ограничивали как в среде своих сверстников, так и в постели из-за известных примеров трезвенности и целомудренности дона Мануэля. Короче, повсюду слонялись бесхарактерные люди, забросившие все действительно чудесные пороки из-за клеветнических слухов о пристрастии Мануэля к добродетели.

Не то, чтобы эти молодые идиоты – во всяком случае, не всецело – думали, что они многого добьются такими крайностями. Но их почему-то искушал этот вздор о добродетельности Мануэля. И потом они –

по-прежнему как-то совершенно необъяснимо – находили в этом определенное удовольствие. Котт воспринимал все это весьма мрачно: молодые люди получали спокойное и сдержанное, но истинное удовлетворение, будучи добродетельными. Значит, наверняка где-то в глубине человеческой природы таится определенная склонность к извращенным наслаждениям, получаемым от такого отрицания и обуздания человеческих желаний. И поскольку сравнительно умные и грешные люди извлекали пользу из возросшей воздержанности своих братьев, все кругом получали выгоду.

Это проклятое новое поколение из-за своих ненормальных устремлений было счастливее своих отцов, живших в царстве прямоты и здравого смысла. Эта бредовая легенда о Мануэле, разумеется, не породила повсеместного нестерпимого совершенства, но бесспорным было и возрастание спокойствия и довольства всего Пуактесма. Котт это тоже видел.

Он вспомнил то, что сказал ему его настоящий сеньор в Месте Мертвых. И Котт признавал, что (говорите что хотите о Мануэле, который действительно жил) косоглазый негодяй, как правило, знал, о чем говорил.

Глава XXX

Отказ от дурных привычек

Известия о делах при дворе и на окраинах провинции доходили теперь до Котта, в два его логова в О-Бельпейзаже, редко и с опозданием. Однако от него не укрылся слух, что Анавальт Учтивый покинул Пуактесм, предупредив об этом лишь близких, как и другие властители Серебряного Жеребца: так Гонфаль, Керин, Мирамон да и сам Котт уходили из страны после кончины Мануэля.

Эти ночные бегства, по-видимому, вошли в привычку (сказал Котт своей жене Азре), и ей лучше лелеять его в ночное время, пока она может, а не нести всякий вздор насчет его холодных рук. Она ответила с присущими женам обобщениями относительно ноющих медведей, каймановых черепах и дикобразов, которые действительно не были нехоти. А вскоре пришли сведения об Анавальте Учтивом и загадка его бегства была разгадана, но лишь много позднее были получены известия относительно его кончины, которую Анавальт встретил близ мельницы в Эльфхеймской Чаще при уходе за хозяйкой этого зловещего места.

— Это в его-то возрасте! К тому же с женщиной чересчур тощей, чтобы его согреть! — сказал Котт. — Это хорошо показывает, мой дорогой сын, к чему приводят развратные привычки, и я верю, что ты можешь извлечь из них выгоду, ибо мир полон подобного обмана.

И Котт для пользы Юргена благочестиво указал на девиз, который встречался почти на каждой стене двух домов Котта наряду с поднявшимся всеми членами на дыбы жеребцом.

Впрочем, Котт был менее счастлив, чем хотел это показать. Он любил Анавальта в те дни, когда они вдвоем служили под знаменем Серебряного Жеребца. Котту казалось, что в темной Эльфхеймской Чаще статный, красноречивый и добрый негодяй попался в ловушку и погиб ни за что ни про что. Не радовало его и осознание того факта, что теперь в живых оставалось лишь пять членов великого братства... Между тем, при воспитании в сыне рассудительности следовало придерживаться надлежащего тона.

И Котт также услышал, примерно в то же время, о чарах, наложенных на короля Гельмаса Глубокомысленного — того монарха, которого, как говорили, в стародавние времена мистифицировал дон Мануэль, что дало Мануэлю в жизни отличный старт. Котт слышал о том, как эти чары были наложены на Гельмаса его собственной дочкой Мелюзиной, и о замечательном перемещении королевского дворца, его лично и всего антуража из Албании на возвышенность Брунбелуа в непроходимом Акаирском Лесу, где, как говорили, весь злосчастный двор Гельмаса так и оставался заколдованным.

И Котт вывел отсюда определенную мораль.

— Это показывает, чего могут ожидать родители от своих детей, — заметил он, бросив недоброжелательный взгляд на обожаемого им Юргена. — Это показывает, к чему приводит привычка баловать детей.

— В общем, отец... — сказал юноша.

— Прекрати кричать на меня! Как вы смеете пытаться меня запугать, сударь! Ты принимаешь меня за еще одного Гельмаса!?

— Но, отец...

— Уйди с глаз моих, склочный щенок! Так не заткнешь мне рот. Возвращайся к своей Доротее! Тебя же больше никто не волнует, — сказал ревнивый старый Котт.

— В общем, отец...

— Ты все еще со мной споришь! Думаешь, мое терпение беспрельдно? О чем тут спорить? Щенок идет за сукой. Все естественно.

— Но, отец, как вы можете!..

— Уйди с глаз моих, пока я тебе все кости не переломал! Возвращайся к этому холодному ханжескому

двору и к своей пылкой девке! – сказал Котт.

Однако все время, пока он говорил так гневно, на душе у Котта было тревожно. Конечно, при воспитании в сыне рассудительности следовало придерживаться надлежащего тона. Тем не менее Котт в душе чувствовал, что, возможно, пошел в отношениях с сыном не тем путем и стал почти бесцеремонным.

Но Котт есть Котт. Такова его судьба. У него только один путь.

Глава XXXI

Другие отцовские апофегмы

Теперь Юрген очень часто бывал при дворе, поскольку юноша двадцати одного года был по уши влюблен во вторую дочь графа Мануэля, которую звали Доротея ла Желанэ. Котт видел ее лишь раз. И вдобавок к его гневу при мысли, что он делит Юргена с кем-то еще, его значительный будуарный опыт побудил Котта высказать одно не совсем вежливое пророчество. При этом разговоре с Юргеном, происходившем в главном зале Бельгарда с дюжиной людей вокруг, Котт был беспощадно точен как в отношении качества Юргенова ума, так и в заявлении, что не желает никаких невесток.

Отец и сын устроили жаркую перебранку. Теперь это было не в новинку. Разница состояла в том, что в эту ссору Юрген вложил всю душу. Поэтому наглый, властный, дерзкий и юный негодяй был выставлен из дома и отправлен на службу к виду де Суаэкуру. А до конца года Котт услышал, что эта самая Доротея ла Желанэ вышла замуж за сына Гуврича Михаила.

— Этот Михаил — лишь первое блюдо из приготовленных для ублажения широкой публики, — такова была эпиграмма Котта.

И множество слухов достигло О-Бельпейзажа относительно поведения Юргена в Гатинэ, и хотя все они оказались достаточно безвредными, не все из них отец был рад слышать. Котт считал, например, что Юрген поступает неосмотрительно, столь поспешно делая Котта дедушкой при содействии третьей жены видама де Суаэкура. Мужья печалются, когда их провоцируют таким потомством, на совершенно нелогичном основании, что провокация не носит взаимного характера. Все же молодежи надо как-то развлекаться, а мужья, согласно опыту Котта, не очень опасное племя. Однако стареющего ольдермена действительно раздражало, что подобные истории доходят до него случайно, а от самого Юргена ничего не слышно.

К тому же из Бельгарда и Сторизенда приходили и другие сплетни относительно того, что старшая дочь Мануэля, госпожа Мелицента, была помолвлена с королем Теодоретом, а накануне венчания исчезла из Пуактесма. А затем прослышали, что она живет в нехристианской роскоши далеко за морем в качестве — если вам угодно выразить это более изящно, чем сие делал Котт, — жены сына и убийцы Мирамона Ллуагора Деметрия.

— А почему бы и нет? — спросил Котт. — Почему бы смуглому парню курносого Мирамона не заводить себе девок, когда заблагорассудится? Отцеубийство — не препятствие для блуда. Это грехи, совершаемые абсолютно различным оружием. Между прочим, многие сыновья намерены сделать то, в чем он так преуспел. К слову сказать, как дон Мануэль, этот ваш знаменитый Спаситель, обошелся с собственным отцом, Пловцом Ориандром?

Его жена Азра поспешно объяснила, что это лишь часть самопожертвования и самоотречения великого Спасителя. Это искупление грехов и принесение в жертву своего единственного, любимого отца для того, чтобы загладить более крупные грехи Пуактесма...

— Заглаживать грехи одного человека, убивая другого, — ответил Котт, — это не искупление. Это вздор.

Но далее было пояснено, что сие искупление — великое и священное таинство. И в качестве такового к нему нужно подходить скорее с благоговением, чем с обычной рассудительностью. Однако это возвышенное таинство искупления без сомнения должно символизировать то обстоятельство, что для достижения совершенства Мануэль сбросил узы со своей плоти...

На это Котт сказал, задумчиво глядя на свою жену Азру:

— Я видел эту схватку. Он сбросил узы со своей плоти, а голову Ориандра с его плеч с таким удовольствием, какого Мануэль не выказывал ни в одном поединке. И многие сыновья такие же. Разве у нас нет сына? Почему ты продолжаешь мне докучать?

— Я лишь имела в виду...

– Прекрати мне противоречить! – Но очень быстро Котт добавил, словно что-то проглотив: – ...моя дорогая.

Ибо Котт менялся. Он больше не охотился, он закрыл медвежью яму. Казалось, он предпочитает находиться в одиночестве. Азра частенько видела его развалившимся в кресле – ничего не делающего, а просто о чем-то думающего. И тогда он смотрел на нее диким взглядом, ничего не говорил. И она уходила от него, ничего не говоря, поскольку она тоже для собственного утешения обычно думала об их сыне.

Глава XXXII

Всеразъедающее время

Затем достиг совершеннолетия Эммерик, и, как говорили, правление госпожи Ниафер закончилось, поскольку граф во всем подпал под влияние своего кузена, епископа Айрара Монторского – того самого, что впоследствии стал Папой Римским.

– Молодая церковная крыса выжила старую, – сказал Котт. – Теперь хромоножка Ниафер должна обходиться без ночника и спать без нимба на подушке.

Но верховенство Айрара длилось недолго, и, в конце концов, Святой Гольмендис оставался при дворе, поскольку как раз в это время худощавый Хольден Смелый появился в Сторизенде с красивой молодой сероглазой чужестранкой по имени Радегонда, которую он представил как вдову царя царей Эльфанора. Люди чувствовали, что этой Радегонде, пережившей мужа на более чем тринадцать веков, следует кое-что объяснить, но ни она, ни Хольден этих объяснений не дали.

История любви Радегонды и Хольдена описана повсюду, и на сей раз она останется нерассказанной. Но теперь, по истощении этой любви, Радегонда нашла благосклонность в жадных глазах графа Эммерика и вышла за него замуж. И впоследствии, в течение всей жизни Радегонды, никогда не ставился вопрос, что это за ветреная особа правит Пуактесмом и Эммериком. А Радегонда – после очень мило, но откровенно высказанной оговорки относительно божественного права князей, делающего их и их жен ответственными непосредственно перед Небесами, а больше ни перед кем, которую, в чем она была уверена, дорогой мессир Гольмендис прекрасно понял, – Радегонда благоволила Гольмендису и его чудодейственным реформам, затрагивающим интересы соответствующего класса людей, поскольку считала, что его нимб – чистое украшение, а практикующий святой при дворе придает этому двору, как она выразилась, должный вид.

Котт обо всем этом слышал. И он кивал огромной куполообразной головой с удовлетворением.

– О дереве можно судить по плодам. Сейчас в Англии длинноногий ублюдок дона Мануэля и королевы Алианоры вернул свою молодую жену в детскую. Сегодня он, как мне рассказали, – в типичной манере всех сыновей – пирует при иностранных дворах вместе с дочерью лорда Бальмера. Короче, он искренне намерен, пока бароны разговаривают его Англию, породить собственных ублюдков...

– Но ты тоже, муженек...

– Перестань затыкать меня своими разговорами на неуместные темы! В Филистии драгоценный отпрыск дона Мануэля и королевы Фрайдис использует в своих целях методы языческого беззакония и уже заточил в позорный Антан собственную мать, пожив с ней какое-то время в кровосмесительной связи...

– Тем не менее...

– Азра, у тебя выработалась, говорю для твоего же блага, скверная привычка перебивать людей, и эта привычка совершенно невыносима. О дереве, повторяю тебе, можно судить по плодам! Это общеизвестно. У нас в Пуактесме прирост семьи дона Мануэля пока дал двух проституток и обжиралющегося роносоца...

– Но даже при этом...

– Ты несешь вздор! О дереве, говорю тебе, можно судить по плодам! Я считаю, это рисует весьма красноречивую картину истинной природы нашего Спасителя.

Азра ничего не ответила. А Котт устался, довольно-таки угрюмо, на свой девиз.

– Не то, чтобы я намеревался, – продолжил он вскоре, сумев превозмочь себя, – нагрубить тебе, моя дорогая. Но я ненавижу дураков, и в частности упрямых дураков.

Здесь также следует упомянуть, что в ночь бракосочетания Радегонды старый Хольден ощутил нестерпимое желание умереть. Все было совершено его собственной рукой, без чьей-либо помощи, но дело замаяли. Таким образом, семейная жизнь графа Эммерика началась с намного меньшего скандала, нежели тот, что послужил ее кульминацией.

Котт и об этом тоже слышал. Взглянув на девиз, он вспомнил о любви, которую питал к Хольдену во времена, когда Котт еще кого-то любил. И слегка удивился, что Хольден в его возрасте все еще разделял заблуждение, что одна девка намного желаннее другой. В основном (думал Котт) у них лишь одно применение, для которого любая из них сгодится, если тебя еще интересуют подобные пустяки. Лично он становился все воздержаннее и чаще всего весьма раздражался, когда кто-нибудь из его вассалов женился, и ожидалось, что ольдермен Сен-Дидольский исполнит свой долг сеньора с новоиспеченной женой. Все повсюду приходило в упадок и вырождалось.

Даже великое Братство Серебряного Жеребца злоба и алчность времени неуклонно сводили на нет. Донандр Эврский оставался единственным из баронов Мануэля, который еще то и дело разъезжал по свету в поисках достойного поединка и красивых женщин. Лучшие же члены братства умерли и исчезли, остались лишь одни лицемеры и дураки (сдержанно оценил Котт). Ибо он да этот парень Донандр, по крайней мере, не были лицемерами...

И к тому же Котт частенько смотрел на свою жену Азру и вспоминал девушку, которой она была во времена, когда Котт еще кого-то любил. Она и сейчас ему весьма нравилась. Но ощущалась некоторая утрата в том, что у нее уже не было настроения ругаться, как в их счастливейшие дни. Уже более двух лет Азра не бросала в его сторону не то что по-настоящему возбуждающих колкостей, но даже тарелок. И Котт жалел глупую бедную женщину, ежесекундно беспокоящуюся об этом юном негодяе Юргене, который, как говорили, выдавал себя за поэта и – в компании, как кто-то слышал, одной великой герцогини – буйствовал по всей Италии, ни слова не написав родителям. Котта теперь вообще не волновала сыновья неблагодарность. Не менее двадцати раз на дню он указывал жене, что лично он никогда и не думает об этом распутном бродяге.

Жена печально ему улыбалась. А когда старый Котт особенно бранился на Юргена, она молча гладила узловатую, крепкую, покрытую веснушками руку своего мужа или его напрягшую щеку или одаривала той или иной абсолютно непрощенной лаской, словно это нелогичное, разбитое горем существо думало, что у Котта какие-то неприятности. Хотя эта женщина никогда его не понимала...

Потом Азра умерла. И Котт остался один. Ему казалось странным, что тот Котт, который когда-то был бесстрашным героем, венценосным императором и равным соперником Высших Божеств, должен запереться в этой тихой комнате и плакать, словно маленький, испуганный, наказанный ребенок.

Глава XXXIII

Расчетливость Котта

В последующие месяцы у Котта был вид расстроенного, сбитого с толку человека. Его слуги сплетничали, что он почти непрестанно беседует сам с собой. Но это, как говорили они, была бессвязная, нехарактерная для него болтовня без всякой ругани... Котт наконец-то почти бросил к чему бы то ни было придирааться. Он был просто сбит с толку.

Ибо жизнь каким-то, пока не окончательно определенным образом его надула. Казалось невозможным, чтобы при повсеместно честной игре жизнь предоставляла бы тебе в качестве итога и окончательного урожая не более, чем вот это. Не оставалось никаких удовольствий: девушки, найденные именно для известных занятий, оставляли тебя совершенно холодным; от вина тебя рвало. Ныне ты хотел, словно на холодном кладбище желаний, лишь одного...

Однако сын Юрген, которого помнило и желало суровое сердце Котта, по-прежнему резвился в зланных и знаменитых местах этого мира, не собираясь терять время в застойном Пуактесме. И Котт весьма подозревал, что даже теперь, при этом болезненном, невообразимом одиночестве, вернись Юрген, уже редко гневающийся Котт набросился бы на мальчишку и выставил того за дверь.

Ибо таков путь Котта. У него лишь один путь... Теперь он задумался о том, что Юрген уже далеко не мальчишка. И, на самом деле, вполне возможно, что этот гуляка в оспинах и с засаленными волосами закончит свою жизнь с кинжалом чьего-либо мужа между ребер. Хотя последние сведения о Юргене гласили, что он пел песни в Византии при содействии некой беглой аббатиссы, у которой не было мужа. И, в любом случае, Юрген никогда бы не вернулся, поскольку Котт встал между юношей и плотоядной, горбоносой проституткой из Аша, о которой сообщалось, что по количеству партнеров в своих играх она побила рекорд бедной вдовы Керины Сараиды.

— Дерзкая пиратка в мужских делах; жалкая шлюпка, плавающая под «Веселым Роджером»! — таков был вердикт Котта, повторенный подслушивавшим пажом. — У этой мадам Доротеи в гостях побывало больше... — тут он начал мямлить, и кое-что утерялось, — чем деревьев в Акаире. А все деревья в Акаире ценятся по их плодам. Эта Доротея — весьма соблазнительный плод с буйно разросшегося дерева Спасителя. Эта Доротея унаследовала от дона Мануэля такую похотливость, которая вполне подходит воину, но не идет молодой женщине. Весьма жаль, что эта легкомысленная трясогузка, похоже, навсегда встала между мной и Юргеном.

Котт произнес эти слова без какого-либо гнева. Он просто был сбит с толку.

Ибо казалось, что все повсюду пропали и бросили его. Котт в свое время стал героем, но ни одно из тех далеких приключений, похоже, теперь не имело значения, да он и сам не мог полностью поверить, что все это произошло с усталым старым человеком, слоняющимся, бормоча что-то себе под нос, по уединенному Шато-де-Рош и поддерживающим в себе жизнь кашей-размазней и ячменным отваром. Эта трясухая хрупкая развалина, конечно же, не являлась тем Коттом, который одним ударом убил трех турков в Лакре-Кае и который похитил толстого Кипрского короля, а в Пиае на виду у двух армий повесил на терновник корону еще одного короля, и который сам был императором, и который удерживал Белую Башню в Скеафе от нападения компрачей, и который замечательно обхитрил влюбленную в него одноногую тиранку Ран-Райгана, и который участвовал в таком множестве других великолепных переделок.

В этих переделках присутствовал сонм женщин — прекрасных женщин, не прибежавших просто на свист, как эти белобрысы Доротеи, которых расплодили повсюду нынешние ханжеские времена, чтобы они вставали между отцом и совершенно беззащитным сыном. И ни одна из этих драгоценных женщин не имеет сейчас никакого значения... Кроме того, неверно сказать, что Юрген совершенно беззащитен. Юрген с самого начала был неистов и своеволен. Это тоже печально, но Юрген пошел в мать (размышлял старый Котт), а его мать всегда была неблагоразумна, как балуя, так и наказывая Юргена, а в итоге Юрген теперь представляет собой компендиум непотребства.

И к тому же тот Мануэль, которого любил Котт, теперь ушел и окончательно вытеснен из памяти всех людей блистающим надгробием в Сторизенде, где некоего Мануэля, который никогда не жил, почитают как бога. Однако это тоже не имеет значения. Это нелепо. Но весь мир нелеп. И ничего с этим не поделать усталому, бормочущему под нос старику.

Без сомнения, люди жили более тихо и более пристойно благодаря этому выдуманному Мануэлю, которого они любили и не без помощи изможденного велеречивого Гольмендиса, которого они боялись. Но для Котта это тоже не имело никакого значения. Люди ныне были такими дураками, что (как расценивал Котт) их поступки и плоды этих поступков равным образом были неважны. Если они преуспевали в проползании червями в рай, существуя здесь так же бездуховно, как черви, Котт не возражал, поскольку сам был приписан к аду и сообществу своих сверстников, живших в более мужественные времена.

Котт получал мало удовольствия от размышлений об аде и о прекрасных великих грешниках, которые уступят ему там место, зная того Котта, который когда-то жил, и о веселом, радушном пламени, в котором никому не будут докучать болтовней про их проклятого Спасителя всякие бесхарактерные людишки. А Мануэль – настоящий Мануэль, тот косоглазый, чванливый, седой подлец, чьи кражи, ублюдки и убийства несметны, – тот Мануэль также будет, конечно же, там. И они с Коттом превосходно повеселятся, обсуждая те реформы, которыми заманивают в рай бесхарактерных людишек, хотя и высокой ценой разрушения Пуактесма Коттовой юности.

Ибо прежние героические дни завершились. Из великого братства оставались, кроме являвшейся Коттом скорлупы, лишь Гуврич, Донандр и Нинзиян. Говорили, что Донандр Эврский сейчас находится в далеком Марабонском царстве, сочетая удовольствия рыцарских странствий с благочестивым паломничеством к могиле Святого Фомы. И хотя Котт всегда восхищался Донандром как своеобразной боевой машиной, в остальных отношениях Котт считал его жалким молодым идиотом, да и придерживаясь такого мнения в течение двадцати пяти лет, Котт не был готов его изменить. Нинзиян являлся елейным лицемером, нерешительным малым, который ограничил себя одним-единственным бедным и блеклым прелюбодеянием с женой ростовщика и который процветал в ханжеской атмосфере этого отвратительного времени, потому что теперь раболепствовал перед Гольмендисом точно так же, как прежде низкопоклонничал перед Мануэлем. Этого чопорного и осторожного Гуврича, которого люди называли Мудрецом, Котт всегда от всей души ненавидел. А когда Котт услышал – от кого-то, как он смутно припоминал, но чересчур хлопотно вспоминать от кого, – что старый Гуврич теперь тоже отбыл из Пуактесма, то и это, похоже, не имело значения.

Вероятно (рассуждал Котт), один из этих встревоженных с виду слуг рассказал ему, что Гуврич умер. Почти все умерли. И, так или иначе, в отношении Гуврича это не имеет значения. По-настоящему больше ничто не имеет значения...

Все, что Котт когда-либо любил, ушло из его жизни. Седой Мануэль, самый величественный и восхитительный из земных властителей (как бы часто этот человек ни нуждался в небольших искренних беседах для его собственного блага), и неуживчивый, мягкосердечный, благоразумный Мирамон, и учтивый Анавальт, и педантичный, добродушный Керин (который привык моргать, глядя на тебя, словно самый большой друг сов, прежде чем выдать свое мнение по какому-либо предмету), и Хольден – самый смелый среди бесстрашных, и ленивый, веселый Гонфаль, которому можно было даже разрешить, в определенных пределах, иронизировать над тобой, потому что Гонфаль был всемирно известным повесой, – все они ушли, самые дорогие товарищи, которых знал когда-либо любой воин, в то утраченное далекое время, когда члены Братства Серебряного Жеребца сотрясали землю лязганьем своих мечей и затмевали небеса дымом разграбленных городов и когда по всему миру люди рассказывали о чудесах, творимых этими героями под предводительством дона Мануэля.

И в небытие ушло к тому же множество великолепных женщин. Эти дни производят теперь лишь сплетниц Мелицент, да Доротей, да тому подобную дрянь. Сейчас нет таких женщин, как Азра, как Гуннхильда, как Муирна Болотная... или как пухленькая, пылкая, смуглая Уцума, или Оргелеза, та гордая владычица Кипра, которая, однако, под конец сдалась, или как Азра... И Котт, задумчиво пережевывая пустоту ввалившимся, беззубым ртом, думал также о великодушной госпоже Абонде, и о маленькой Флеретте, и об Азре, и о Кредхе, той веселой, хотя и чрезвычайно требовательной ирландской девушке, и о

высокой Асгерде, и об Азре, и о Бар, той вероломной, но прелестной морской деве, и об Орианде, и о бедной Фельфель Расиф Иедеу, которая отдала все волосы с тела, а потом и жизнь, чтобы сохранить его жизнь, и об Азре.

Он вспомнил ту девушку, которой была Азра, и без всякой радости подумал о десятках других усадительных особ, которых Котт знал давным-давно. Все эти женщины ушли из жизни. Парочка из них, вероятно, еще делает вид, что выжила в отвратительной коже, похожей на сморщенные старые уродливые мешки, и в каком-нибудь темном углу, возможно, еще с трудом жует – ввалившимся, беззубым ртом, таким, какой и у него, – пустоту. Ибо пустота теперь их паёк. А тех любвеобильных, великолепных, пресыщенных, постоянно падающих в обморок девушек, которых Котт помнил в нескромных подробностях, сегодня больше уже нигде не существовало.

А Юрген, тот бесподобный ребенок, и тот свернувшийся калачиком мальчик, лепечущий свою детскую ложь о доне Мануэле, его вознесении на небо и другой вздор, чтобы избежать порки, и тот красивый, честный и прямой юноша, как раз вступивший в пору угрей, которому Котт так обрадовался, когда вернулся из Толлана и с трона Толлана, – его Юрген в дюжинах дюжин этапов роста – теперь все эти дорогие образы его сына ушли в небытие. Остался лишь беспутный и бессердечный прожигатель жизни, воющий рифмованный вздор и носящийся по свету – везде, где с ним нянчатся великие герцогини и аббатиссы. Котт взглянул на свой девиз.

Значит жизнь в пределе, когда все ценности жизни собраны и ты – уважаемый, процветающий ольдермен, сводится вот к этому. Ничего не дало то, что ты был нежным и внимательным отцом, или исполненным долга и много выстрадавшим сыном, который, правда, избил своего отца, когда последний раз уходил от него, но лишь после существенной провокации... или любящим и верным мужем в рамках человеческой неустойчивости, или бесстрашным героем, убивающим мускулистых противников, как мух, или даже императором, увенчанным тем странным мягким золотом Толлана и тащившим черных, разлагающихся богов по большим дорогам. В конце жизни ты, тем не менее, ссохшаяся скорлупа – без гордости, и без надежды на удовольствие, и без настоящего желания, живущего в тебе. И тебе вечно холодно, даже когда ты клюешь носом вот здесь у камина. И не с кем поговорить, кроме этих смущенных с виду слуг, которые никогда не подходят к тебе чересчур близко...

Если б у тебя только был сын, все могло бы быть по-другому... Тут Котт вспомнил, что, в сущности, у него где-то есть сын. Эта мысль мгновенно вылетела у него из головы. Но он очень стар, а старики все забывают. Да, красивый парень. И он вскоре придет ужинать – страшно опоздав на ужин, со шляпой, сильно сдвинутой на затылок, и в очень грязных башмаках – и Азра будет его распекаль... Только Котту казалось, что Азра, или какая-то еще женщина, умерла. Жаль, но слишком хлопотно вспоминать все сожаления и всех умерших в этом мире. И еще хлопотнее старику удерживать эти утомительные вопросы у себя в голове. И, кроме того, все умерли. В мире существует конец всех приключений. И ничего с этим не поделаешь.

Но, по крайней мере, еще одно приключение предстоит тому Котту, который не мог достичь льстивых компромиссов с вымыслами, посредством которых жили дураки и сохраняли как дурацкую надежду, так и показушное удовлетворение. Ему казалось, что порой он был весьма груб с этими дураками. Но все это тоже закончилось. Они пошли своим путем, а он – своим. И когда это последнее приключение будет успешно завершено, ты можешь надеяться уютно обосноваться вместе с чванливыми и великодушными грешниками и расположиться не слишком далеко от того седого, косоглазого грешника, который был самым дорогим и восхитительным из земных властителей; и вечно оставаться с этими красивыми мошенниками среди веселого, бушующего пламени, в котором больше нет одиночества, и нет холода, и нет мелочных разговоров о том или ином Спасителе, несущем общее бремя, и где испуганные слуги больше не шпионят за тобой...

Герольды не возвестили об этом последнем приключении, ибо Котт умер во сне, пережив жену своей юности ровно на четыре месяца.

Книга Шестая

В доме Силана

*«А вам самим время – жить в домах ваших украшенных,
тогда как Дом сей в запустении?»*

Аггей, 1, 4

Глава XXXIV

Что-то не так – почему?

Теперь рассказ о Гувриче Пердигонском, как правило, называемом Мудрецом, который после ухода Анавальта в Эльфхейм был главным из властителей Серебряного Жеребца, еще оставшихся в Пуактесме. И история рассказывает о том, как Гувричу Пердигонскому показалось, что что-то не так.

Ни на что конкретно он пожаловаться не мог. На самом деле, в Пуактесме не существовало барона более могущественного и почитаемого, чем Мудрец Гуврич. У него не было нужды волноваться по поводу каких-то выдумок о Мануэле, которые никак не влияли на благосостояние Гуврича Пердигонского, и он не вступал в противоречие с более степенным и религиозным порядком вещей, преобладавшим теперь в Пуактесме. Как бы эти времена ни были холодны, Гуврич приспособился к ним и замечательным образом процветал.

В качестве гетмана Ашского он по-прежнему владел, с такой же педантичностью, как и в золотые дни Мануэля, плодородным Пьемонтэ между рекой Дуарденес и Пердигоном. У него были деньги и два замка, жил он в красоте и роскоши, у него были благоразумие, знатное имя и самые лучшие виноградники в этих областях. У него имелись все причины гордиться высоким, преуспевающим сыном Михаилом, удручающе достойным молодым человеком, чьи чересчур обильные добродетели, с такой ревностью сформированные по образцу легенды о Мануэле, заставляли Гуврича рассматривать амурные дела жены Михаила (и дочери Мануэля) с тихим, далеким от восторга изумлением. А сам Гуврич ладил со своей женой так (льстил он себе), как любой мужчина мог только надеяться ладить, оставаясь глухим к ее словам, но явно этого не показывая.

Однако что-то, чувствовал чопорный и осторожный Гуврич, где-то было не так. Вещи, даже такие прозаичные и заурядные, как стул, на котором он сидел, или его собственные руки, движущиеся перед ним, становились порой сомнительными и какими-то отдаленными. Люди говорили более тонкими голосами, а их тела то и дело мерцали, словно были цветными паробразными призраками. Деревья в буйнорастущих лесах Гуврича порой вытягивались и утончались на ветру, как струйки дыма. Стены прекрасного дома Гуврича в Аше, а также и в его большой крепости в Пердигоне приобрели привычку, что с раздражением как-то заметил их консервативный владелец, сдвигаться на толщину волоса, когда на них не смотришь, и менять положения и углы так же неуволимо, как смещаются облака.

Нестабильность таилась повсюду. Без всякого предупреждения ставшие привычными лица исчезали из величественного домашнего хозяйства Гуврича. Оставшиеся рыцари и лакеи, казалось, не замечали этого, словно на самом деле не знали своих пропавших коллег.

И Гуврич обнаружил, что сказание, которое сложили и приукрасили под его присмотром уважаемые всеми местные барды, дабы сохранить для потомства славные подвиги и поучительные награды Мудреца Гуврича, уменьшалось в размерах и теряло выразительность. На следующий вечер та или иная строка, а то и целый абзац, необъяснимо пропадали, какое-нибудь яркое приключение теряло краски, а какое-нибудь славное достижение становилось менее четким. И возвышенные, неистовые деяния, в которых Гуврич принимал участие в качестве властителя Серебряного Жеребца, начали, в частности, становиться почти неузнаваемыми. В таком случае люди вскоре могли разувериться в том, что Мудрец Гуврич жил беспримерно героично и добропорядочно и каким-то непостижимым образом преуспевал во всем.

И это крайне раздражало Гуврича. Словно он или любое из его владений и человеческих связей превращались в фантомы. И рассматривать любую из этих метаморфоз казалось занятием малоприятным.

Гуврич крепко запер изнутри двери коричневой комнаты, в которой он уже долгие годы занимался магическими исследованиями и чародейством. Он выдвинул на середину стол, на крышке которого красовались надписи, начертанные знаками трех алфавитов. Он надел белое одеяние, на сморщенную шею повесил гирлянду из фиолетовой вербены, также называемой «травой креста». Из семи колец он выбрал – поскольку было воскресенье – золотое кольцо с хризолитом, на котором была выгравирована фигурка змея с львиной головой.

Когда это кольцо было подвешено над столом на рыжем волосе, выдернутом давным-давно из хвоста одной девственной мары, и когда должным образом была вызвана бледная Владычица Перекрестков, Гуврич зажег свечку, отлитую из жира сарацинских женщин и кормящих сук, и злое пламя этой свечки поднес к волосу. Рыжий волос со слабым злобным шипением загорелся; золотое кольцо упало и покатилося по столу – оно крутилось, оно вертелось, оно, блистая, двигалось между буквами трех алфавитов, проползая, словно пытаемый червь, от одной идеограммы к другой, и оно открыло Гувричу жуткую истину.

Силан, которого звали Хват-Без-Хребта, оказался с Гувричем не в ладах. И это не являлось обстоятельством, которым любой человек, одаренный рассудительностью и своекорыстием, мог позволить себе пренебречь.

Глава XXXV

Путешествие Гуврича

Определенно, Мудрец Гуврич, заботившийся о себе, не пренебрег этим обстоятельством. Чопорный и осторожный человек надел доспехи и поехал на восток за Мегариду. И он упорно двигался все дальше на восток, миновав Страну Вдов и страшный Остров Десяти Плотников. Потом у Колодезя Искандара Гуврич снял защитные доспехи. Он снял даже шлем, а вместо него надел головной убор из совиных перьев. Он миновал заоблачные безводные пастбища и стену Саманидов, а затем, натерев ноги коню лимонным соком, проехал безостановочно по широкому и мелкому озеру и вот так прибыл к Дому Силана. И сперва все шло достаточно хорошо.

Гуврич боялся, к примеру, что Норны запретят ему входить в это злосчастное место. Но когда он благополучно привязал красивого коня, на котором Гуврич больше уже никогда не скакал, то обнаружил, что седые пряжи не препятствуют ему. Они сказали, что никогда и не замыслили для Гуврича какого-либо будущего. И им было безразлично, отправится ли он вперед навстречу своей гибели или отважно вернется назад к жене.

– Но разве вы не прядете сказания и судьбы всех людей? – спросил он их.

– Только не твои, – ответила тощая Скульд, подняв на него бледные холодные и ясные глаза.

Гуврич, таким образом, миновал изможденных дочерей Двалина. И гордый человек двинулся дальше – обеспокоенный, но никем не задерживаемый. А в серой передней находились прародители Гуврича, развлекающиеся, каждый в причудливой манере прежних дней, и разговаривающие бесстрастными, увядшими голосами о стародавних временах.

Поскольку ни один из этих праотцев никогда не слышал и не думал о Гувриче, они не обратили на него ни малейшего внимания. Но их внешний вид почему-то его встревожил. У одного из этих незнакомцев был тонкий, с горбинкой нос Гуврича, а у другого – его длинные тонкие пальцы, а у третьего – его чопорный рот, а у четвертого – его превосходные широкие плечи. Гуврич мог различить, как все эти фрагменты его тела движутся необъяснимым образом по серой комнате. Он знал, что невидимо, но не менее реально, по этой серой комнате расхаживают его вкусы и врожденные отвращения – его маленькие дарования, слабости и устаревшие пристрастия: его математический талант, его склонность к рисованию, его способность быстро простужаться и его любовь к сладостям и щедро приправленным блюдам.

Здесь была смешана всякая всячина, принадлежащая этим не обращающим на него внимания людям, и этой почти случайной смесью и являлся Гуврич. Эта мысль была унижительна. Он подумал, что ведь в этой серой комнате находится еще один Гуврич, только этот другой Гуврич не целен, а двигается отдельными фрагментами. Эта мысль показалась такому крайне эгоцентричному человеку, как Гуврич, весьма неутешительной.

Поэтому Гуврич миновал своих праотцев. Без промедления гордый человек чопорно прошествовал мимо этих никчемных людей, случайные интрижки которых сотворили его и дали ему жизнь и все его превосходные качества и которые не посоветовались относительно его пристрастий и даже вовсе не думали о нем.

Глава XXXVI

Предписанный враг

Он подошел к двери, рядом с которой сидел, дремля над косой, мрачный кастрат. Гуврич отважно схватил его за чуб и дернул, вынудив угрюмого стража вскрикнуть от боли:

– Достаточно!

– Для времени достаточно значит достаточно мало, – сказал Гуврич, – а если ты достаточно мал, я могу благополучно пройти, не убивая здесь время. И несомненно, я так и поступлю, потому что тратить время значит продлевать жизнь.

– Давай-давай, – проворчал древний страж, – но эти цирюльничьи вольности и эти дурацкие речи кажутся мне весьма странными...

– Время, – ответил ему Гуврич, – в конце концов все уравнивает.

Затем Гуврич обошел старого евнуха против движения солнца и так вошел в комнату, оклеенную черными с серебром обоями. А в этом помещении находился маленький, прекрасного телосложения, мальчик с кристальным неподвижным взглядом змея.

Мальчик поднялся и, отложив в сторону жезл, на котором цвели черные маки, каждый с серебристым сердечком, сказал Гувричу:

– Необходимо, чтобы ты возненавидел.

При виде этого незнакомца Гуврича объял необъяснимый, неистовый восторг. И, осенив себя знаменем Речного Коня и Письмен Ло, он спросил у этого мальчика его имя.

Но тот лишь ответил:

– Я – предписанный тебе враг. Между нами существует извечная ненависть. И если б наши тела встретились, мы бы стали сражаться как героические соперники. Но что-то здесь не так: наши сказания извращены, а наши души пойманы в ловушку Дома Силана, и наши жизни истощаются.

– Давай, давай же, мой враг! – воскликнул Гуврич. – Ненависть – раз ты говоришь мне, что это ненависть, – бьет в меня как в барабан. И я хотел бы, чтобы мы с тобой могли сразиться!

– Этого произойти не может, – ответил мальчик. – В Доме Силана я являюсь лишь фантомом. Я живу в качестве новорожденного в Дании, я пока еще дремлю в пеленках и в этот миг вижу сон о предписанном мне враге. Однако в жизни, которая есть сейчас у тебя, ты никогда не отправишься в Данию. А когда я вырасту, и буду в состоянии держать в руках меч, и замысливать, как навлечь на тебя беду, и окружать тебя со всех сторон непристойными извращениями, тело, которым ты владеешь сейчас, у тебя отнимут.

– Очень жаль, – сказал Гуврич, – ибо за всю свою жизнь, даже в суровые старые времена превознесенного ныне Мануэля... конечно же, я имею в виду, что хотя и обладал привилегией участвовать в земных трудах Спасителя, за всю свою жизнь я до сего дня никого не презирал. Некоторых людей я просто не любил, примерно так же, как не люблю холодную телятину или мух – без настоящей страсти. И зачастую эти люди были мне полезны, так что посредством сдержанной лести и несущественной лжи я поддерживал хорошие отношения. Но теперь я понимаю, что на протяжении всей жизни, в которой ближние мне рукоплескали и завидовали, я нуждался в некоем возбуждающем противнике, чтобы возвеличить свою жизнь страстным и героическим отвращением.

– Знаю, дорогой противник! И я так же знаю, что вся жизнь, которой я сейчас обладаю, должна истощиться из-за неутоленной тоски по предписанному мне врагу. Но вскоре дела пойдут намного лучше, если мы выберемся из Дома Силана!

– Ого! – громогласно произнес Гуврич. – Я отсюда вовсе не выбираюсь. Наоборот, я только вошел сюда и иду в самую сердцевину этого злосчастного места. И ты должен пойти со мной.

Но паренек покачал своей прелестной, с озлобленным выражением лица, головкой.

– Нет, Гуврич. Теперь, когда, как мне сказали, Силан вот-вот станет человеком, в сердцевине Дома Силана обнаружатся жалость и ужас. А они должны навсегда остаться для меня неизвестными.

– Но почему? – спросил Гуврич. – Какая нужда в том, чтобы эти катарсические средства, крайне высоко ценимые Аристотелем, оставались, в частности для тебя, неизвестными?

– Ох, – ответил мальчик. – Это тайна. Я знаю лишь одно: предписано – и предписано, коли на то пошло, во имя Элохима, Мутратона, Адоная и Семифора, – что мой жезл, так как он впервые был поднят в Гоморре, должен обладать совершенно иными добродетелями, чем жезлы Иакова и Моисея.

– Ах, в Гоморре! Так ведь именно в этом порочном городе в долине Иордана, мой милый мальчик, впервые обошлись без жезла! Все понятно. А разве этот жезл нельзя использовать... вот так?

И Гуврич показал сдержанным, но красноречивым жестом, что он имел в виду.

Паренек бесстрашно все ему объяснил.

Глава XXXVII

Слишком много ртов

И Гуврич покинул предписанного ему врага. А у следующей двери сидел в подавленном настроении человек с неважным, судя по цвету лица, пищеварением, в венце и старом саване, согнувшийся, словно от боли, над надгробием с очень тонко выгравированным гербом, именем, родословной и титулами Гуврича Пердигонского. Лишь дата и причина кончины Гуврича пока отсутствовали. Венценосный труженик отложил в сторону резец и подобострастно улыбнулся Гувричу.

– В действительности, я должен быть более осторожен, – заметил этот страж, охая, ерзая и тряся лишенной плоти головой, но по необходимости все время улыбаясь, поскольку у него не было губ. – Понимаете, мне предписано не знать меры в своей диете. Я должен есть как овец, так и ягнят. А потом я обнаруживаю, что от смерти нет лекарств.

Не выразив сочувствия, Гуврич вынул из кармана горсть монет и выбрал среди талеров и пистолей недавно отчеканенную марку. Эту монету он подал стражу, и мастер надгробий с любовью принял сверкающую марку. Затем Гуврич обошел против движения солнца и этого стража. А когда царь ужасов был таким образом обманут, Гуврич вошел в следующую комнату. Сладкий, острый и тяжелый запах проник вместе с Гувричем и пристал к нему, напоминая благоухания бальзамирующих снадобий.

Обои в этой комнате были белые с золотом. И в этой комнате толстый обнаженный мужчина с одной лишь митрой на голове молился девяти богам. Он поднялся и, отряхнув пыль с покрасневших коленей, сказал Гувричу:

– Необходимо, чтобы ты уверовал.

– Я хочу уверовать, – ответил Гуврич. – Однако когда я спрашиваю... В общем, вы знаете, что всегда происходит.

– Таково, мой дорогой заблудший сын, праведное наказание за грешное любопытство. К нему нужно, в равной мере, прибегать и его бежать. Главное же – верить.

Гуврич весьма уныло улыбнулся под своим головным убором из совиных перьев. Он сказал, будто бы следуя знакомому ритуалу:

– Почему я должен верить?

На руках, груди, животе – повсюду на теле обнаженного мужчины в митре раскрылись красные, точь-в-точь как настоящие, рты, и каждый рот отвечал на вопрос Гуврича по-разному, и пока все они говорили одновременно, ни один из ответов невозможно было разобрать. Гуврич смог различить в этой сумятице голосов лишь некий пискливый лепет о Спасителе Мануэле. Затем рты закончили говорить, закрылись и стали невидимыми. Мужчина в митре теперь казался похожим на любого другого благожелательного, изрядно упитанного господина средних лет и с виду уже не был ужасен.

– Вот видите, – сказал Гуврич, пожав плечами. – Видите, что всегда происходит. Я спрашиваю, и мне отвечают. Затем под впечатлением этих необычайных явлений меня обычно подташнивает. Но я, тем не менее, не знаю, в какой из ваших бесчисленных ртов я должен иметь веру и какой подкупить, чтоб он мне улыбался и предрекал только хорошее.

– Это вообще не имеет значения, сын мой. Тебе лишь нужно верить по твоему выбору в любое божественное откровение относительно того, что несравненный Спаситель придет завтра, и тогда ты станешь жить счастливо и безбедно и больше не будешь фантомом в Доме Силана.

– Ого! – сказал Гуврич. – Но это же вы фантом, а не я!

Призрак с минуту молчал. Затем он тоже пожал плечами.

– Ни одна вера не интересуется мирскими мнениями относительно таких несущественных и чисто личных вопросов.

– Я, – указал Гуврич, – не думаю, что этот вопрос существен. В любом случае, все ваши рты отвечали мне с одинаковой убежденностью и громкостью. В результате я не понял ничего, сказанного ими.

– Да ну?! – удивленно воскликнул толстый мужчина в митре. – Это порой случается, как мне рассказывали, когда Силан с кем-то не в ладах. Но лично я держусь подальше от Силана – теперь, когда Силан вот-вот станет человеком, поскольку подозреваю, что в сердцевине Дома Силана пребывает нечто слишком жалкое и слишком ужасное, справиться с чем ни один мой рот не поможет.

– Я ничего не знаю о вашей помощи в подобных или каких-то иных делах, – ответил Гуврич. – Но я знаю, что даже если вы не пожелаете меня сопровождать, я намерен противопоставить магии Силана свое чародейство; и мы очень скоро увидим, что из этого выйдет.

Глава XXXVIII

Предписанная возлюбленная

У следующей двери сидел свирепый и ревнивый разрушитель с ущербным нимбом вокруг почтенной, семитской формы головы. Верхняя часть его тела напоминала янтарь, а нижняя – светилась, словно от тусклого огня. Он казался одиноким и несказанно изнуренным. Он без всякой любви взглянул на Гуврича и сказал:

– Ахих ашр ахих.

– Ни одно божество не смогло бы выразить свои чувства прекраснее, сударь, – ответил Гуврич. – Я чту это обстоятельство. Тем не менее, я заметил ваше число: 543.

Затем Гуврич опять-таки против движения солнца обошел этого стража, совершив полный круг.

– Иссахар – осел с крепкими членами, – рассудительно сказал Гуврич. – Он преклонил плечи для ношения бремени. Однако ему присуще хождение по кругу.

С этими словами Гуврич двинулся дальше. А вокруг Гуврича теперь мерцали бледные ореолы, ибо в этот миг он находился очень близко к Богу и к ступням пристало сияние Божьей славы.

По комнате с розово-зелеными обоями разгуливали белые голуби, клевавшие ячмень. Посреди комнаты какая-то женщина сжигала на новеньком земляном блюде фиалки и лепестки белых роз. Она с улыбкой поднялась, оставив это занятие. И ее прелесть не являлась следствием лишь цвета и формы, как бывает сплошь и рядом в материальном мире. Скорее, эта прелесть была светом – живым и добрым.

Удивительная женщина начала, как и все:

– Необходимо...

– Мне кажется, сударыня, нет никакой необходимости объяснять, какие человеческие способности вы призовете меня применить.

Гуврич сказал это с галантной фриivolностью, но, однако, не без душевного трепета.

Некоторое время женщина почему-то печально разглядывала его, а потом спросила:

– Значит, ты меня не помнишь?

– Странно, сударыня, – ответил он, – очень странно, что я должен мучительно вспоминать ту, которую до сего дня никогда не видел. Ибо я потрясен старыми ужасными воспоминаниями, я встревожен величием прежних потерь, которые никогда не возместить, в тот самый миг, когда я не могу – хоть убей! – сказать, что это за воспоминания и что за потери.

– Ты любил меня... не один, а много-много раз, предписанный мне возлюбленный.

– Я любил множество женщин, сударыня... хотя я, конечно же, всячески избегал скандалов. И было весьма отрадно любить женщин, не раздражая предвзятости их признанных и законных владельцев. Это позволяет сочетать физические упражнения с духовными. Но происходящее сейчас далеко не восхитительно. Наоборот, я напуган. Я стал соломинкой, несомой широкой рекой. Мне не доставляет никакого удовольствия подобное времяпрепровождение. То, что оказалось сильнее, чем я мог себе вообразить, мчит меня к тому, о чем я не ведаю.

– Знаю, – ответила она. – Время от времени так с нами и бывает. Но что-то стало не так...

– А произошло то, сударыня, что Силан оказался не в ладах со мной и жаждет, как сообщила мне моя дактиломантия, пары вещей, которыми я владею.

– Силан вот-вот станет человеком. Поэтому-то твое сказание извращено, и это причина того, что ты пойман как фантом в ловушку Дома Силана...

– Эх, значит вы, сударыня, тоже прогоняете меня как фантома!

– Как же, конечно, ведь ни одно тело не может войти в это злосчастное место! Тело, которое есть у

меня сегодня, предписанный мне возлюбленный, принадлежит очень старой женщине в Катае, клюющей носом среди множества детей и внуков и грезящей о любви, в которой эта жизнь мне отказала. Это прыщавое и сморщенное тело цвета гниющего яблока. А тела, которыми мы сейчас обладаем, никогда не смогут встретиться. Поэтому наша жизнь истощается, и жизни, которыми мы сейчас обладаем, должны остынуть, как разлитый кипяток. И этому сейчас не поможешь – сейчас, когда Силан с тобой не в ладах.

– Я иду противопоставить его магии свое чародейство, – решительно сказал Гуврич.

– Ты идешь, мой дорогой, встретиться лицом к лицу с самым жалким и ужасным из всего, что только есть на свете! Ты идешь навстречу своей собственной гибели!

– Тем не менее, – сказал Гуврич, – я иду.

Однако он по-прежнему смотрел на эту женщину. И тонкие, четко очерченные губы Гуврича непрерывно двигались. Он вздохнул. Он повернулся и молча пошел дальше. Его лица не было видно под головным убором из совиных перьев, но его широкие плечи слегка опустились.

Глава XXXIX

Оставшийся необойденным страж

У следующей двери лежал огромный белый жеребец. И когда Гуврич приблизился к этой двери, она отворилась. Из-за коричневой портьеры вышел двусмысленный молодой человек по имени Горвендил, с которым Гуврич, время от времени, имел важные отношения в течение сорока лет своих занятий чародейством.

Жеребец поднялся, прежде чем Гуврич смог его обойти против движения солнца, и величаво ушел прочь. А Горвендил задумчиво смотрел вслед благородному животному.

— Он тоже, — сказал Горвендил, — расхаживает здесь как фантом. Разве не жаль, Гуврич, что этот самый Калки придет не в наши дни и что мы никогда не узрим его полновесной славы? Я плачу по тому Калки, который однажды вернет на предписанные им места возвышенную веру, горячую любовь и ненависть и который присмотрит за тем, чтобы человеческие страсти всегда находили надлежащее выражение в речах и деяниях. Я громко плачу по Калки! Маленьких серебряных фигурок, которые кандидаты в его орден создают и почитают, вполне достаточно. Но Калки — конь иной масти.

— Я пришел в это отвратительное место не за тем, чтобы говорить о конях и кошмарах, — ответил Гуврич, — но чтобы принять участие в борьбе со злом, замысливаемым неким Хватом-Без-Хребта, который со мной не в ладах и который извратил мое сказание.

Горвендил на мгновение задумался. Он сказал:

— Значит, после стольких лет вы по собственной воле пришли на Восток, точно как я и предрекал, чтобы встретиться лицом к лицу с самым жалким и ужасным из всего существующего?

Гуврич ответил весьма настороженно:

— Я не могу позволить, чтоб извращали мое сказание.

Тут Горвендил заявил:

— Тем не менее я считаю, что из-за сказания любого властителя Серебряного Жеребца не стоит ссориться. Ваши сказания в конечном счете все должны быть извращены и поглощены великой легендой о Мануэле. Неважно, как вы будете бороться против этой легенды, она все равно победит. Неважно, как вы поступали и страдали в жизни, мой обреченный Гуврич, ваше сказание все равно будет переправляться до тех пор, пока во всем не станет сообразным легенде, порожденной воображением испуганного заблудившегося ребенка. Ибо люди не смеют встречаться лицом к лицу со Вселенной, опираясь лишь на собственные силы. Все живущие, все, кто волей-неволей бродит по этому миру, словно потерявшиеся, заблудившиеся дети, защитник которых еще не пришел, имеют жизненную потребность верить в эту поддерживающую их легенду о Спасителе. И ничья порочность и глупость не одолеют глупость и фальшивый оптимизм всего человечества.

— Эти афоризмы, — признал Гуврич, — возможно, разумны; возможно, ценны; возможно, даже обладают неким рациональным зерном. Но в любом случае они не оправдывают того, что моя жизнь перевернута вверх дном и целиком перемешана каким-то распутным, бесстыдным силаном, у которого нет даже скелета.

Горвендил ответил:

— Не вижу никакого изъяна в вашем образе жизни. Вы главный среди баронов Эммерика — теперь, когда обглоданные кости Анавальта покоятся в Эльфхейме, у вас есть богатство, а власти — намного больше, чем у самого Эммерика, теперь, когда ваш сын зять Эммерика, а бедный Эммерик женат на некой вдове. Вы уважаемый чудотворец, и вы, в самом деле, после смерти Ллуагора непревзойденны в своем искусстве. И вы также, как мне рассказывали, обладаете заслуженной репутацией благодаря мудрости и учености — теперь, когда Керин спустился под землю. Чего еще можно требовать?

— Я требую большего, нежели подобная предусмотрительность и вторичное превосходство. — Гуврич

странным образом казался отчаявшимся. Говорил же он теперь голосом, который ни в чем не был чопорным и осторожным: – Я требую человека, которого могу ненавидеть; священника, которому могу верить; и женщину, которую могу любить!

Но Горвендил тряхнул рыжими кудрями и усмехнулся несколько кривовато:

– Преуспевающие люди, мой бедный, благополучный Гуврич, не могут позволить себе такой роскоши. И они по ней тоскуют. Я-то знаю. Силан тоже является, по-своему грубо и наивно, преуспевающей личностью. Сейчас он почти человек. Поэтому он лелеет фантомы, и подозреваю, эти фантомы потревожили вас своей бессмысленностью, поскольку хорошо известно, что одни лишь иллюзии обитают в коридорах этого злосчастного места, куда могут войти только фантомы.

– Однако я же сюда вошел, – указал Гуврич.

– Да, – уклончиво ответил Горвендил.

– А сейчас я вхожу, – заявил Гуврич, – в самую сердцевину этого места, чтобы противопоставить магии Силана свое чародейство.

Глава XL

Расчетливость Хвата-Без-Хребта

Затем Гуврич сходным образом вошел в следующую дверь. И вот так, со светящимися ступнями и в сопровождении запахов похоронных снадобий, Гуврич попал в комнату, в которой находился Силан. Хват-Без-Хребта спокойно поднял голову от своей писанины. Хват ничего не сказал, он просто улыбнулся. Воцарилась полная тишина.

Гуврич заметил одну странную вещь: в этой комнате были коричневые обои, книги и картины, показавшиеся знакомыми. А потом он понял, что эта комната во всем напоминает коричневую комнату в Аше, в которой он многие годы занимался магическими исследованиями и чародейством; и что в этом злосчастном месте, несмотря на все его тяжелые путешествия через Страну Вдов, страшный Остров Десяти Плотников, высокую Стену Сасанидов, здесь он по-прежнему видел в хорошо известных окнах знакомую страну вокруг Аша и сверкающую реку Дуарденес, а за ней длинную Амнеранскую равнину и дремучий Акаирский Лес. И Гуврич увидел, что у этого самого Хвата-Без-Хребта, сидящего тут, улыбаясь Гувричу, под головным убором из совиных перьев лицо пожилого мужчины, долгое время просиживавшего в этой комнате; и что Хват-Без-Хребта ничем не отличается от Мудреца Гуврича.

Гуврич заговорил первым. Он сказал:

— Это сильная магия. Это нравоучительная магия. Меня предупреждали, что здесь я встречу лицом к лицу с собственной гибелью, что здесь я встречу с самым жалким и ужасным из всего сущего. И столкнусь здесь с тем, что сам я сделал в жизни, а жизнь из меня. Я содрогаюсь. У меня в голове проносятся самые страшные мысли. Тем не менее, сударь, я должен высказать предположение, что простая и ясная аллегория как форма искусства в чем-то непристойна.

Хват-Без-Хребта ответил:

— Что у меня может быть общего с формами искусства? Я нуждался в форме из плоти и крови. Мне необходимо было человеческое сказание из самой что ни на есть безжалостной пряжи Норн. Мы, силаны, обладаем властью и привилегиями, но не являемся детьми какого-либо бога. Так что, когда мы проживаем дозволенные нам века, мы должны погибнуть, если не можем исхитриться стать людьми. Поэтому я мучительно нуждался во всех человеческих неудобствах, чтобы душа, сдобренная карами и гнетом, смогла пустить во мне росток и сумела, при соблюдении правил игры, сохраниться в вечном блаженстве и никогда не погибнуть, как погибаем мы, силаны.

— Все слышали эти общеизвестные факты о вас, силахах, — нетерпеливо ответил Гуврич, — и твою кражу, таким подлым образом, моих собственных, особенных человеческих качеств я считаю недопустимой...

— Да-да, — сказал Хват с неким удовлетворением, — это сделано посредством редчайшей магии, причем сильной магии, для которой нет противоядия.

— Это мы посмотрим! Ибо случившееся со мной несправедливо...

— Конечно, — подтвердил Хват. — Судьба, теперь оказавшаяся твоей, не честнее моей вчерашней судьбы — справедливо ли погибнуть как сорняку или старому коту?

— ...И поэтому я пришел сюда противопоставить мое непревзойденное чародейство твоей вздорной магии и заставить тебя возратить мне украденное...

— Я не возвращу тебе, — заявил Хват, — ничего. А взял я все. Твое сказание теперь мое сказание, твои замки — мои замки, твой сын — мой сын, а твое тело — мое тело. Внутри этого тела я намерен жить добродетельно, умерщвляя плоть и подавляя страсти, в течение хотя бы десяти лет. А потом это тело умрет. Но к тому времени душа пустит во мне росток, бессмертная душа, которую, можешь быть уверен, я сохраню незапятнанной, поскольку я, по крайней мере, знаю, как ценить такую достойную собственность. А когда твоя могила станет моей могилой, эта душа, конечно же, вознесется к вечному блаженству.

– Но что, – презрительно сказал Гуврич, – если я не соглашусь с тем, что у меня украли спасение, гарантированное шестидесятью годами благополучной и добропорядочной жизни? И что, если я заставлю тебя?..

– Думаю, что в твоём случае не нужно говорить о принуждении кого бы то ни было. Да это и не всецело моя заслуга, что твой дом теперь является Домом Силана. Эгоцентричный и самодовольный человек, у тебя не оказалось больше ни сил, ни настоящих желаний, а осталось лишь множество мелких привычек. Вообще ничего прочного не осталось по-настоящему твоим, даже тогда, когда я впервые распространил свою магию. Да, а потом ты стал легкой добычей. И человеческие качества, которые ты удерживал так слабо, очень легко ускользнули от тебя, так долго жившего без любви, ненависти и веры. Ибо на протяжении этого чересчур беззаботного житья сила и желание вытекли из тебя, и вся твоя жизнь истощилась. Мне лишь пришлось завершить это истощение. И следовательно, – Хват сделал весьма изящный жест длинными тонкими пальцами Гуврича, – следовательно, ты расхаживаешь в качестве фантома.

Гуврич воочию увидел эту прискорбную истину. Он увидел, что существовала лишь легкая сероватая дымка, сквозь которую он без помех смотрел на знакомый ковер; что теперь он колебался и колыхался посреди этой комнаты, где в течение многих лет проводил свои исследования без намека на достижение подобного парения. Однако ничего не изменилось. Гуврич Пердигонский сидел на прежнем месте – за дубовым столом с медными уголками, занимая свое привычное место, – вполне материальный, чопорный и осторожный; настолько энергичный, насколько только было возможно в его возрасте; почитаемый и состоятельный, и требовать от его положения большего в том смысле, в каком люди оценивают процветание, было нельзя.

И дальнейшая жизнь Гуврича протекала совершенно размеренно: со всеми удобствами, и рукоплещущими повсюду людьми, и отсутствием предосудительных и всевозможных эмоциональных крайностей. Именно с этого уравновешенного и достойного положения в жизни бесчестный Силан собирался сместить Мудреца Гуврича; и оставить Гуврича просто фантомом, вещью, такой же преходящей и сомнительной, – и конечно же, можно сказать, такой же свободной, и похотливой, и нестареющей, – какой сущность Силана была всего лишь вчера... Ибо эти отвратительные грабители и похитители девушек не утрачивали энергичности, не старели и не уставали. Вместо этого, когда пробивал назначенный час, они просто исчезали...

– Ну и ну! – сказал Гуврич; теперь он мерцал в сидячей позе, готовый к общению. – Такого рода лишение всех человеческих качеств неожиданно, своевольно, плачевно и так далее. Но нам следует, даже когда все потеряно, сохранять присутствие духа...

Силан позволил ему говорить...

И Гуврич продолжил:

– Итак, тебя не разубедить, и ты решил, ценой возможного конфликта между моим чародейством и твоей магией, оставить меня невоплощенным ни во что рассудком! Однако ты, без сомнения, предпочитаешь собственный рассудок...

Силан позволил ему говорить...

Но Гуврич приостановился. Ибо рассудок Силана, в конце концов, сделал Хвата способным достичь – каким-то незаконным методом – всего возможного, чего здравый разум мог искать в области успеха, удовольствия и будущей известности, после того как Хват-Без-Хребта вознесется к вечному блаженству, гарантированному благополучным и добропорядочным прошлым. Рассудок Силана добыл ему самое лучшее, на что только мог надеяться любой человек. Таким образом, не было ни малейших оснований, благодаря которым человеческое существо могло непочтительно относиться к рассудку Силана... Разве только то, что эти силаны, всегда такие прискорбно похотливые и проворные, никогда не утрачивали энергичности, не старели и не уставали. Они никогда, разве что по собственному желанию, не становились отвратительными, чопорными старыми педантами. Вместо этого, когда пробивал назначенный час, они просто исчезали...

– ...Ибо ваш рассудок кажется мне весьма ужасной разновидностью рассудка, – продолжил Гуврич, –

и у меня нет сомнений, что ваша магия того же пошиба. Мое слабосильное чародейство не имело бы шансов в борьбе против такой магии и такого разума. О, боже мой, нет! Поэтому я признаю свою беспомощность, мессир Хват, не оседлывая игривого и высокого коня благородного негодования. Я избегу неподобающего пререкания между коллегами-художниками. И, прося вас возвернуть мне привычные награды за бережливое, добродетельное и во всех отношениях успешное существование, я могу уповать лишь на ваше милосердие.

– Я, – сказал Силан, – им не обладаю.

– На это я надеялся... – тут Гуврич кашлянул, – Тоска, острая тоска, сударь, лишает меня надлежащего контроля за речью. Ибо я, конечно же, намеревался сказать, – Гуврич продолжил на более трагичной ноте, – что на это я надеялся тщетно! Теперь исчезла всякая надежда. С этих пор вы человек, а я лишь непочитаемый никем смутный Силан! В общем, все это ужасно, но полагаю, ничего нельзя поделать.

– Ничего нельзя поделать, если вы предпочитаете не добиваться кое-чего худшего с помощью этого чародейства.

Гуврич был уязвлен.

– И это происходит между коллегами-художниками! – заявил он. – О, нет, дорогой Хват, такого рода открытое, показное соперничество, ради чисто материальных выгод, всегда кажется прискорбно вульгарным.

– Тогда, если вы меня извините, – почтительно сказал Силан, подражая вежливой манере Гуврича, когда тот имел дело с незначительными людьми, – я прошу прощения, что не могу продолжать эту весьма приятную беседу. Вероятно, как-нибудь в другой раз... Но я действительно сегодня утром очень занят. И кроме того, сюда в любую минуту может зайти ваша жена, чтобы позвать меня обедать.

– Не буду назойливым. – Парообразно поднявшись, Гуврич улыбнулся с вновь возникшим оттенком сочувствия. – Ужасная женщина, вы это скоро обнаружите! И, Господи, как молодой Гуврич ее обожал! Сегодня она является одной из бесчисленных причин, приводящих меня к вопросу: будет ли ваше одушевление совершенно счастливым при нависших над вами небесных удовольствиях. Понимаете, она несомненно отправится на небеса. И Михаил тоже... Знаете, по-моему, вы также найдете Михаила большим занудой. Он ожидает слишком многого от своего отца, а когда эти ожидания окажутся под угрозой, он посмотрит на вас, точно обиженная, надменная корова! Теперь именно вам придется жить с его представлениями и представлениями этой излишне доверчивой, раздражительной, глупой женщины, и именно вы будете волноваться из-за вездесущего ощущения, словно что-то предано и потеряно!.. Но вы будете жить, тем не менее, в соответствии с их идиотскими представлениями! И не сомневаюсь, что, как вы и говорите, гнет и кары пойдут вам на пользу.

Силан твердо ответил:

– Бедный, неглубокий, недоученный, эгоистичный дурак! Именно эта любовь и гордость, их вера и ревность скрывают ваши недостатки, именно эти вещи, над которыми вы так глумитесь, сотворят во мне душу!

– Без сомнения... – Тут Гуврич поспешно продолжил искренним, одобрительным тоном: – О да, мой дорогой коллега, в этом нет никакого сомнения! И я уверен, вы обнаружите, что родовые муки вознаграждаются. Небеса, как мне все говорят, очаровательное местечко. Между тем, если вы не против, всего минуту прошу вас не кривить мое лицо так неподобающе, пока я здесь. Видеть, что праведные размышления и добропорядочное нетерпение вместе с фривольностью могут сделать из моего лица, и часто делали из моего лица, – размышлял вслух Гуврич, роскошно выплывая из знакомого окна, словно дым, – даже сейчас немного унижительно. Но это значит, что самые благотворительные уроки неизменно и самые шокирующие.

Глава XLI

Удовлетворительные последствия

Таким образом, истинный Гуврич стал неведом людям. А поддельный Гуврич собрал бумаги, снял головной убор из совиных перьев и начал переодеваться к обеду...

Жена и сын Гуврича с того времени наслаждались его чуткостью и сердечностью. И все заметили еще одно чудо: Гуврич Пердигонский с возрастом перешел от холодной сдержанности в вопросах религии к весьма активной благотворительности и набожности. Легенда о Мануэле теперь нигде не имела более пламенного приверженца и пропагандиста, поскольку Хват питал свою развивающуюся душу всевозможными религиозными удобрениями. Да и его доброта не ограничивалась разговорами о ней самой: праведные деяния Хвата были многочисленны и чрезвычайно щедры, так как у него было все, чего только можно достичь, и при серьезной материальной собственности Гуврича он мог позволить себе быть весьма великодушным.

Старый господин, таким образом, стал первым любимцем Святого Гольмендиса. И именно Хват, в то время когда старый товарищ Гуврича Керин Нуантельский вернулся в Пуактесм, помогал Гольмендису обращать Керина к великой легенде о Мануэле.

Короче говоря, Хват жил неузнаваемым в теле Гуврича и сохранял его в состоянии добродетельности, поскольку благоденствующий дворянин после шестидесяти лет является предметом нападок крайне малого количества искушений, которые нельзя удовлетворить тихо и без скандала. Он умер с гарантией на блаженное воскрешение, которого, без сомнения, достиг.

Что касается истинного Гуврича, то о нем совершенно ничего определенного не было известно. Однако отмечалось, что впоследствии в течение многих лет некий любовный демон инкогнито разгуливал по холмам за Пердигоном. Девушки из Вальнера и Огда сообщали, что присутствие этого демона можно определить по трем приметам: во-первых, он источал сладостный и довольно пикантный запах, весьма похожий на запах снадобий бальзамировщика; во-вторых, было замечено, что в сумерках подошвы у него светятся. Третий неизбежный знак его нахождения поблизости они, краснея и хихикая, открыть отказались.

Книга Седьмая

Желание Сарайды

*«...Ни одно из них не преминет придти, и одно другим не
заменится...»*

Исайя, 34, 16

Глава XLII

Огдские обобщения

Дальше история рассказывает, что зимой, после встречи Гуврича с Силаном, в Пуактесм вернулся Керин Нуантельский, чтобы стать еще одним новообращенным приверженцем великой легенды о Мануэле. Рассказывают также и о том, как впервые люди узнали, почему и как Керин ушел из Пуактесма.

А посему история возвращается к очень древним дням, в май месяц после кончины Мануэля, и повествует о том, что Керину Нуантельскому показалось, будто он понимает свою третью жену не лучше, чем предыдущих. Но несмотря на этот, вероятно, неизбежный недостаток семейной жизни, он тогда жил вполне благополучно со своей Сараидой, которую многие называли ведьмой, в ее пользующемся дурной славой восьмиугольном доме неподалеку от сухого Огдского Колодезя. Это был серый дом с соломенной крышей, в изобилии поросшей дикими цветами и мхом. На коньке крыши свила гнездо чета аистов. А сам дом стоял в зарослях бузины.

Место было тихое и спокойное, и в нем, по мнению Керина, двое людей вполне могли жить безмятежно – теперь, когда распущено Братство Серебряного Жеребца и со славными походами юного Керина под знаменем донна Мануэля покончено навсегда. Сам Керин, мягкий и вечно щурящийся, не сожалел об исчезновении Мануэля. Этот человек неизменно заставлял всех сражаться, будь то с монголами, или с норманнами, или с Отмаром Чернозубым, или со старым подозрительным Склаугом, или с Мануэлевым отцом, слепым Ориандром. Такая жизнь не оставляла времени на какие-либо культурные мероприятия. Керину нравилось сражаться – в умеренных пределах – с людьми, заслужившими признанную репутацию. Но Керин, после четырех лет разъезжания по всем краям земли по приказу неугомонного Мануэля, невыносимо устал от убиения незнакомцев, которые ни в коей мере Керина не интересовали.

Поэтому ему казалось облегчением избавление от Мануэля и полученная возможность еще раз жениться и обосноваться в Огде, в восьмиугольном доме под сенью бузины. Однако, даже в такой прелестной тиши, подчеркивает история, третья жена Керина еженощно беспокоилась, а следовательно, беспокоила и мужа из-за великого множества непостижимых вопросов.

О происхождении Сараиды здесь нечего сказать полезного и пристойного. Достаточно заявить, что сомнительные родители дали этой самой Сараиде талисман, с помощью которого опознавалась истина, когда обнаруживалось что-то похожее на нее. И прежде всего Керин не мог до конца понять в своей жене ее постоянных жалоб на то, что она так и не отыскала истину о чем бы то ни было, а в частности истину относительно самой себя.

– Я существую, – обычно говорила она мужу, – и я, в основном, такая же, как и другие женщины. Следовательно, эта Сараида несомненно является природным феноменом. А в природе, по-видимому, все предназначено для той, или иной, или еще какой-то цели. На самом деле, после беглого осмотра молодой женщины, известной под именем Сараида, неизбежно делается вывод, что такое совмещение красоты, ума и страсти, красок, ароматов и нежности далеко не случайно; и что это сочетание с усердием создано, чтобы служить какой-то цели. И я хочу узнать об этой цели.

А Керин отвечал:

– Как тебе угодно, моя дорогая.

Так что юная Сараида, которую многие называли ведьмой, искала из ночи в ночь желаемое знание в широком и разнообразном окружении – у священнослужителей, купцов, поэтов и злодеев; и пробуждала в своем талисмане все цвета, кроме того единственного золотого свечения, который бы объявил о нахождении истины. Этот чистый, нежный желтый луч, как она объяснила Керину, должен вызываться только в ночное время, поскольку днем его сияние можно не заметить, и ощущение истины будет потеряно.

Керин, во всяком случае, мог понять здравый смысл этих рассуждений. Так что юная Сараида, неустанно ободряемая своим любящим мужем, продолжала свои ночные изыскания.

– Не унывай, женушка, – обычно увещевал ее Керин, как он увещевал ее одним распрекрасным весенним вечером, – ибо женщины и все присущее им, без сомнения, имеют какое-то предназначение, которое вскоре будет открыто. Между тем, моя драгоценная, что у нас сегодня на ужин? Ибо этот вопрос, что ни говори, действительно важен...

Но Сараида лишь сказала в своей шустрой и непоследовательной детской манере:

– О Керин, властелин моего сердца, я так хочу узнать истину обо всем этом и обо всем остальном!

– Полно-полно, Сараида! Давай не отчаиваться в отношении этой истины. Ибо, как мне рассказывают, истина лежит где-то или на дне морском, или на дне колодца, а в сущности, у дверей нашего дома находится довольно симпатичный, хотя и давно высохший колодец. Наше местоположение, таким образом, вполне благоприятно, надо лишь набраться терпения. А истина, рано или поздно, выплывет на свет божий, как мне обещают, – возможно, из тьмы этого самого заброшенного Огдского Колодезя – потому что истина могущественна и, рано или поздно, восторжествует.

– Несомненно, – сказала Сараида. – А все это долгое время, мой Керин, ты лишь будешь высказывать подобные мысли!

– ...Ибо истина диковиннее вымысла. Да и, как говорит нам Лактанций, однажды истина изойдет даже из уст Дьявола.

Сараида поежилась. А ее ангельские уста раскрылись в зевоте.

– Истину нелегко найти, – продолжил любимый ею Керин. – К истине трудно подстроиться: у роз и истины есть шипы.

– Вероятно, – сказала Сараида. – Но против банальностей у замужней женщины никогда нет защиты.

– Однако истина... – продолжил Керин, по-доброму ее подбадривая, – может зачахнуть, но никогда не погибнет. Исидор Севильский увековечивает прекрасное изречение: хотя злоба может затмить истину, она не в силах ее погасить.

– Дорогой супруг, – сказала Сараида, – порой я нахожу тебя настолько мудрым, что диву даюсь, как сподобилась выйти за тебя замуж!

Но Керин скромно отмахнулся от ее признания.

– Просто я тоже восхищаюсь истиной. Ибо истина – наилучший щит. Истина не стареет. Истина, говоря словами Тертуллиана, не прячется по углам. Истина заставляет краснеть самого дьявола.

– Господи Иисусе! – сказала Сараида и совершенно без повода топнула ножкой.

– ...Так что всем, в каком угодно окружении, следует быть верными истине, что я сейчас и делаю, моя крошка, замечая, что уже давно прошло время нашего обычного ужина, а у меня сегодня был весьма тяжелый день...

Но Сараида покинула его, будто бы в задумчивости, и направилась к каменному ограждению большого и бездонного Огдского Колодезя.

– В этих общих замечаниях насчет дьяволов, щитов и времени ужина я нашла лишь одно, которое, вероятно, может оказаться полезным. Истина лежит, говоришь ты мне, на дне колодца – как раз такого, как наш.

– Это утверждают и Клеант, и насмешник Демокрит.

– Значит, истина может и не лежать, как ты предположил, на дне именно этого колодца? Ибо одна Жар-Птица знает истину обо всем, а я припоминаю древнюю легенду про то, что птица, обладающая истинной мудростью, обычно гнездится в этой части Пуактесма.

Керин перегнулся через ограждение огромного и бездонного Огдского Колодезя, всматриваясь в его глубины.

– Я считаю невероятным, дорогая женушка, что Жар-Птица, повсюду известная как самая мудрая и самая древняя из всех птиц и вообще среди всех живых созданий, выбрала бы для гнезда такую

безрадостную на вид дыру. Все же этого нельзя сказать с полной уверенностью. Мудрость любит глубину. А известно, что этот колодец превосходит по глубине человеческие знания. Природа, как сообщает нам Цицерон, «in profundo veritatem penitus abstruserit...»

– Господи Иисусе! – вновь сказала Сараида, но с более сильным ударением. – Тогда слазай туда, как добрый малый, и добудь для меня истину.

Сказав это, она хлопнула его обеими руками по спине и толкнула мужа в огромный и бездонный Огдский Колодезь.

Глава XLIII

Молитва и девы-ящерицы

Неожиданность случившегося – как выходки Сараиды, так и потрясающего открытия, что можно упасть с высоты в сотни и сотни эллей, не получив даже ссадины, – несколько смутила Керина, когда он оказался на дне сухого колодца. Он радостно крикнул:

– Женушка, я ни чуточки не ушибся! – поскольку это обстоятельство казалось ему чрезвычайно счастливым и необъяснимым.

Но тут же вокруг него начали падать камни, словно Сараида, услышав его голос, стала в отчаяньи швырять эти камни в колодец. Керин подумал, что это весьма оригинальный способ подстрекания на поиски знаний и истины, поскольку пылкость Сараиды, выраженная посредством булыжников, неизбежно привела бы к его гибели, не отыщи он проем, который по счастью имелся в южной стене. Действительно, трудно понять этих женщин, выходящих за тебя замуж, размышлял Керин, пока полз какое-то время на четвереньках до расширения проема, где он смог выпрямиться в полный рост.

Но этот проход вскоре привел Керина к подземному озеру, заполнявшему всю пещеру, так что он не рискнул идти дальше. Вместо этого он присел к самой кромке мрачных и бесконечных вод. Он видел эти воды благодаря множеству блуждающих огоньков – тех, что называют еще «кладбищенскими свечками», – которые мерцали и плясали повсюду над темной поверхностью озера.

В такой гнетущей обстановке Керин начал молиться. Он лояльно отдал первенство разному вероисповеданию и прочел сначала все молитвы своей церкви, которые только смог вспомнить. Он обращался к таким святым, которые казались ему наиболее подходящими для данного случая, а когда после живейшего описания затруднительного положения Керина шестнадцать святых не смогли заметным образом вмешаться в это дело, Керин попробовал обратиться к Ангелам, Серафимам, Херувимам, Престолам, Господствам, Силам, Властям, Началам и Архангелам.

Однако позднее, когда ни один из членов небесной иерархии не удостоил его ответом, Керин сделал вывод, что падая он, без сомнения, сошел во еретические области и в гнусные владения нехристианских божеств. Поэтому теперь он молился всем ненавистным языческим богам, которых мог вспомнить как самых могущественных в таких темных местах. Он молился Аидонею Несмеющемуся, Всеполучающему, Собирателю Людей, Непобедимому и Отвратительному; неумолимым Керам, этим самым ужасным обитательницам пещер, питающимся кровью убитых воинов; мрачным странницам Эриниям, Седым Девам, Похитительницам Трупов; а наиболее горячо – Коре, этой сокрытой и весьма прелестной девушке в трауре, которой принадлежал, как говорили, весь сумрачный подземный мир.

Но ничего не произошло.

Затем Керин направил свои молитвы в новые мишени. Он обратился к Сусаноо, императору тьмы, который обычно порождает детей, пережевывая меч и выплевывая его куски; к Экчуа, Черному Старiku, который, по крайней мере, ничего не жевал своим единственным зубом; к Марутам, возникшим из частичек разбитого божественного зародыша; к Оннионту, громадному, рогатому желто-бурому змею, чье логово вполне могло находиться неподалеку; к Тетре, еще одному владыке подземных царств; а также к Апопу, и Сету, и Серкет, Предводительнице Скорпионов; и Камасоцу, Правителю Летучих Мышей; Фенриру, волку, ожидавшему в какой-то пещере, очень похожей на эту, грядущего времени, когда Фенрир сбросит и проглотит Всемогущего Бога-Отца; Сраоше, который управляет всеми мирами в ночное время.

Но по-прежнему ничего не произошло. И Керин видел лишь бесконечные воды, а над ними монотонный танец блуждающих огоньков.

Керин, тем не менее, хорошо знал, будучи верным сыном Церкви, действенность молитвы. И теперь он начал, как следствие, молиться блуждающим огонькам, поскольку те могли, как рассудил он, являться божествами в этом весьма гнетущем месте. И Керин испытал значительное облегчение, когда после пары молитв некоторые из этих парящих огней поплыли к нему. Но его удивление еще более усилилось, когда он увидел, что каждая из «кладбищенских свечек» представляет собой живое существо, во всем похожее

на крошечную фосфоресцирующую девушку, кроме головы ящерицы.

– Какова ваша природа? – спросил Керин. – И что вы делаете в этом холодном и темном месте?

– Если б мы ответили на любой из этих вопросов, – сказала одна из маленьких страшилок пронзительным голосом, будто разговаривал сверчок, – для вас это было бы хуже всего.

– Тогда, пожалуйста, не отвечайте! Вместо этого расскажите мне, можно ли найти поблизости знания и истину, ибо именно их я и ищу.

– Откуда мы знаем? Мы попали сюда не по своей воле и не за тем, чтоб заниматься подобной роскошью!

– Тогда как отсюда выбраться?

Тут они все зашебетали разом, порхая вокруг Керина и пища:

– Отсюда нельзя выбраться.

Керин не воскликнул в раздражении, как сделала бы Сараида: «Господи Иисусе!» Вместо этого он сказал:

– Боже мой!

– Да мы и не хотим покидать это место, – сказали маленькие женщины-ящерицы. – Эти воды удерживают нас здесь темной прелестью рока. Мы впали в постоянную немилость этих вод. И страх не позволяет нам их покинуть. Человеку не представить жестокость этих вод. А пока мы танцуем, мы все время думаем о тепле и еде, а не об этих водах.

– А что, у вас здесь нет ни еды, ни тепла, даже нет серы? Ибо я помню, что там наверху, в Пуактесме, наши священники обычно пугали...

– Нас больше не волнуют священники. Но своего рода бог обеспечивает нас предназначенной нам едой.

– Вот-вот, так-то намного лучше. Ибо, как я толь ко что говорил жене, после весьма тяжелого дня ужин – жизненно важный вопрос... Но кто этот бог?

– Не знаем. Мы лишь знаем, что у него девятнадцать имен.

– Мои дорогие дамочки, – сказал Керин, – ваша информированность оказывается такой ограниченной, а ваш блеск таким всецело материальным, что я не решаюсь спросить, не знаете ли вы, по какому поводу звучит тот далекий гонг, который я слышу?

– Звуки гонга означают, сударь, что предназначенная нам еда готова.

– Увы, мои дорогие подруги, но совершенно невыносимо, – заявил Керин, – что пища находится на том берегу темного озера, а я, перенесший весьма тяжелый день, нахожусь на этом.

– Нет, нет! – уверили они его. – Это не невыносимо, ибо мы, по крайней мере, не против этого.

Тут писклявые маленькие создания улетели от Керина, порхая, паря и мерцая над широкими водами, казавшимися отталкивающе холодными и ужасно глубокими. Тем не менее, Керин в отчаянии – теперь, когда ни один бог не ответил на его молитву и даже блуждающие огоньки бросили его, а с Кериним в темноте оставался лишь сильный голод, – поднялся и бросился резко как ныряльщик, в эти недружелюбные с виду воды.

Результат оказался неожиданным и довольно болезненным: как оказалось, эти воды были глубиной не более полуэлля. Керин встал, чувствуя себя глупо, мокрый с ног до головы, потер лоб и побрел вперед по широкой мелкой луже, о которой не было нужды заботиться какому-либо богу.

Керин, таким образом, без помех добрался до суши и до места, где сияющее скопление женщин-ящериц принялось уже нечто кусать, грызть и глотать. Керин, поняв природу предназначенной им пищи и содрогнувшись, поскорее миновал это место и пошел к свету, который он обнаружил впереди на уровне чуть выше собственного роста.

– Ужин, – заметил он, – вопрос жизненно важный. И, в самом деле, всему есть предел.

Глава XLIV

Прекрасное радушие Склауга

Как оказалось, Керин в темноте поднимался по лестнице из девятнадцати ступенек. Так он попал в громадный серый коридор, по левой стене которого располагалось девятнадцать ниш. Каждая ниша была заполнена книгами, а рядом с каждой нишей стояла зажженная, довольно высокая свеча толщиной с туловище жеребца. И удивлению Керина не было предела, когда он обнаружил у первой ниши того самого Склауга, с которым, что не без удовольствия вспомнил Керин, он имел столько хлопот и великолепных рыцарских поединков, прежде чем несколько лет тому назад этот Склауг был убит и старательно сожжен.

Тем не менее, этот старый подозрительный господин находился здесь, целый и невредимый, без усталости ползая по-волчьи на четвереньках, что он любил делать и раньше. Но, издав удивленное рычание, он выпрямился. И потирая длинные тонкие руки, пальцы которых соединялись перепонками, как на лапах лягушки, Склауг спросил, что привело Керина в глубины подземного мира.

Керин же в этот миг чувствовал себя чуточку неловко, поскольку совершенно не знал, какому этикету нужно следовать при встречах с личностями, которых до этого убил. Однако Керин всегда был готов, как никто другой, забыть старые обиды. Поэтому он откровенно рассказал свою историю.

Тогда Склауг обнял Керина и радушно его принял. И Склауг смеялся тоненьким, непринужденным, похожим на ржание смехом пожилого человека.

– Что касается происшедшего в Лорче, дорогой Керин, не думайте больше об этом. Тогда в некотором отношении это было действительно весьма неприятно. Но, в конце концов, вы сожгли мое тело, не вбив предварительно мне в бунтарское и изобретательное сердце осиновый кол, и поэтому с тех пор мне не занимать забав. А что касается знаний и истины, которые вы ищете, то все знания здесь, в этих книгах, которые я охраняю в данной Нараке – в промежутках между своими небольшими забавами – для своеобразного бога.

Керин почесал затылок под жесткими на вид, черными кудрями и начал осматривать этот коридор.

– Ничего не скажешь, книг огромное количество. Но Сараида, по-моему, желала, насколько я мог ее понять, получить все знания.

– Давайте заниматься вещами по мере их сложности, – ответил Склауг. – Сперва приобретите все знания, а потом уж надежду на понимание.

Затем учтивый старик подал Керину белое вино и ужин, намного более приятный, нежели ужин блуждающих огоньков. И положил перед Керином одну из книг.

– Давайте сначала поедим, – сказал Керин, – ибо ужин, в любом случае, жизненно важный вопрос, тогда как знания и истина могут обернуться всего лишь женской причудой.

Они поужинали. Затем Керин, после весьма тяжелого дня, уселся поудобнее и принялся читать.

Книга, данная Керину, являлась книгой, написанной патриархом Авраамом на семьдесят первом году жизни. И вскоре Керин поднял голову и сказал:

– Я уже узнал из этой книги одну вещь, которая является несомненно истинной.

– Вы быстро продвигаетесь вперед! – ответил Склауг. – Очень хорошо!

– В общем, – признал Керин, – таков один способ описания предмета. Но, без сомнения, другие вещи в равной мере истинны. А оптимизм, так или иначе, ничего не стоит.

Глава XLV

Обобщения гусака

Так для Керина началась привольная жизнь. Девятнадцать свечей постоянно, как и в первый раз, равномерно освещали огромный прямой коридор, горя, но не сгорая и не дымя, и с них даже не нужно было снимать нагар. И Керин пробирался от одной свечи к другой, прочитывая в каждой нише все книги до единой. Когда Керин уставал, он ложился спать. Пока он бодрствовал, он все свое время отдавал приобретению знаний. У него не было ни необходимости, ни возможности отличать дневные занятия от ночных.

Склауг периодически уходил, а возвращаясь, приносил Керину еду. Склауг приходил, как правило, с губами и подбородком, испачканными кровью. Когда Склауг отсутствовал, Керину оставалось довольствоваться компанией словоохотливого крупного гусака, жившего в коричневой клетке.

К тому же иногда появлялись необычные существа, многие из которых были непохожие на людей, но только во время отлучек Склауга, – которого они, похоже, по той или иной причине недолюбливали, – и они вызывали гусака, платили ему, и в результате следовали некие церемонии. Чересчур занятый Керин, конечно же, не мог тратить много времени, предназначенного для чтения, на эти орнитомантические и, вероятно, языческие обряды. Однако он переносил подобные перерывы философски, поскольку, на худой конец, как он рассудил, они на какое-то время прекращают страшно слащавое и весьма отвлекающее пение гусака.

И вот так прошло несколько лет. И Керину никто не мешал, кроме гусака. Эта никчемная птица настойчиво и с глупым, заслуживающим осуждения шармом самоутверждалась своим пением; и поэтому постоянно прерывала добывание Керином знаний гусиными рапсодиями о красоте, тайне, святости, героизме и бессмертии, и о других разнообразных ненаучных материях.

– Ибо жизнь изумительна, – любил замечать гусак, – и земным чудесам нет конца.

– В общем, я бы так не сказал, – ответил Керин, добродушно поднимая голову от книги, – поскольку за последнее время геология сделала большой рывок вперед. Так что, мессир Гусак, я бы этого не сказал. Скорее, я бы сказал, что Земля – это планета, кишущая фауной, лучше всего приспособленной для выживания на данном этапе существования планеты. Во всяком случае, я давным-давно покончил с землей и со всеми обычными земными феноменами, такими как землетрясения, образование континентов, подъем островов, а также со звездами, метеоритами и всеобщей космографией.

– И из всех существ человек самое изумительное...

– Изучение антропологии, конечно же, важно. Благодаря этому я и узнал все про человека: про его рождение и устройство, его изобретения и занятия искусством, про его государства в целом и про влияния звезд, которые управляют гороскопом и действиями каждого человека как индивидуума.

– ...Дитя бога, брат животных!..

– В общем, теперь я тоже ставлю под вопрос научную ценность зооморфизма. Однако допускаю, что факты из жизни животных весьма интересны. Например, существует две разновидности верблюдов; возраст оленя можно определить по его рогам; период беременности у овец равняется ста пятидесяти дням; а на хвосте у волка есть маленький пучок волос, являющийся лучшим приворотным зельем.

– Вы каталогизируете, бедный Керин, – сказал гусак. – Вы коллекционируете обрывки знаний: так сорока собирает блестящие камешки. Вы трудитесь, двигаясь от книги к книге, так же методично, как червь прокапывает свои ходы. Но вы не узнаете ничего за то потерянное время, когда уходит ваша молодость.

– Наоборот, я в этот самый момент и узнаю все что нужно, – ответил Керин. – Я узнаю о разновидностях камня и мрамора, включая известняк, песок и гипс. Я узнаю, что художниками, превзошедшими других в скульптуре, были Фидий, Скопас и Пракситель. Последний, как я к тому же только что узнал, оставил сына по имени Кефисодот, унаследовавшего отцовский талант и создавшего известную прекрасную «Группу борцов».

– Вы и ваши борцы, – сказал гусак, – глубоко абсурдны! Но время – царь борцов, и оно уже готовится схватиться с вами.

– На самом деле, эти «Борцы» совсем не абсурдны, – ответил Керин. – А доказывает это тот факт, что они уже давно являются особой достопримечательностью Пергама.

На этом гусак отстал от Керина и, немного пошипев, сказал:

– Отлично, каталогизируйте и дальше факты о Пергаме, рогах оленя и планетах! А я буду петь.

Керин какое-то время смотрел на своего сокамерника с кротким неодобрением, а затем сказал:

– Однако я каталогизирую истины, которые доказаны и гарантированы. Но вы, живущий в коричневой клетке, запрятанной глубоко под землей в этом сером коридоре, вы не можете обладать информацией из первых рук относительно красоты, тайны, святости, героизма и бессмертия, вы подвигаете людей на дела, в которых несведущи, и вы поете о рвении и восхищении, и кроме всего прочего о будущем, о котором вы не можете ничего знать.

– Вполне может статься, что поэтому-то я и пою об этих вещах так трогательно. И в любом случае, я не стремлюсь копировать природу. Наоборот, я творю для собственного развлечения такие мечты и верования, которые, существуя среди людей, приводили бы к разрушению. А так поклонники покидают меня, опьяненные моей могущественной музыкой. Они храбро шагают по этому серому коридору, и они лишены страха и мелочности. Ибо воздействие моего пения, как любого великого пения, заключается в наполнении моих слушателей чувством их значительности как высоконравственных существ и величия их судеб.

– Но, – сказал Керин, – но я давным-давно покончил с различными учениями о нравственности, и теперь я, как уже говорил, занимаюсь петрологией. Да я и не стану прекращать обучение до тех пор, пока не приобрету всех знаний и всех истин, которые смогут удовлетворить мою Сараиду. А она, мессир Гусак, чрезвычайно проницательная женщина, для которой ваши романтические иллюзии не имеют ни малейшего значения.

– Ничто, – ответил гусак, – ничто во вселенной не имеет значения и не существенно для любых серьезных ощущений, кроме романтических иллюзий. Ибо человек – единственное животное, которое обезьянничает в отношении своей мечты. Эти аксиомы – бедный, глухой и слепой расточитель! – тем не менее стоят того, чтобы их процитировать.

– Да и они, подозреваю, – сказал Керин, – цитируются не часто, будучи сущей ерундой.

На этом он вернулся к книгам, а гусак возобновил пение.

И так прошло еще много лет. Наверху родилась и расцвела легенда о Мануэле, и перед лицом ее превозвышения шумные, суровые, грубые и веселые времена, которые знал Керин, медленно уходили из Пуактесма, чтобы никогда не вернуться. Наверху правил граф Эммерик – достаточно бездарно, но, по крайней мере, с заметной склонностью к справедливости, милосердию и доброте, навязанными ему легендой, – там, где дон Мануэль правил согласно своей собственной воле. Наверху госпожа Ниафер и Гольмендис строили повсюду монастыри и богадельни; и теперь начинали мало-помалу преследовать с помощью весьма безжалостного чародейства фей, демонов и всех остальных неортодоксальных духов, исконно живших в этом крае; и начали к тому же искоренять и людей-еретиков, которые тут и там проявляли такой недостаток патриотизма и религиозной веры, что ставили под вопрос легенду о Мануэле и даже само запредельное будущее Пуактесма.

Необходимость заниматься этим огорчала Ниафер и Гольмендиса, а также ограничивала часы их досуга. Но тем не менее, будучи трезвомыслящими филантропами, они честно смотрели в лицо требованиям справедливой веры в любой уже открытой религии, согласно которым все неверующие должны рассматриваться, в любом случае, как пропащие и им нельзя позволять жить и дальше, разве что в качестве источника загрязнения и захламления бессмертных душ остальных людей.

Между тем гусак превозносил романтические иллюзии, а Керин все читал. Его глаза, покуда Керин удобно сидел в кресле, пропутешествовали по миллионам и миллионам страниц. И за исключением страшно слащавого и весьма отвлекающего пения гусака, Керину ничто не мешало, и ничего не волновало

его, кроме усиливающейся с возрастом немощности.

Глава XLVI

Выход Керина на белый свет

Затем старый Склауг сказал Керину, выглядевшему уже намного старше, чем сам Склауг:

– Пришло время нам с вами распрощаться с учением. Ибо вы прорыли себе, как червь, ход сквозь все здешние ниши, и вы прочитали все написанные когда-либо книги. А я увидел, что сила, сгубившая меня, уничтожена. Я отправлюсь в другую Нараку. А вы, всеведущий Керин, должны теперь вернуться в мир людей.

– Хорошо, – согласился Керин, – потому что, в конце концов, я очень долго отсутствовал дома. Да, это действительно неплохо, хотя я буду сожалеть о расставании с книгами того бога, о котором вы мне рассказали... и которого, между прочим, я еще не видел.

– Я сказал – своеобразный бог. Должен заявить вам, что ему не поклоняются ни ученый, ни тупица. Однако! – Склауг продолжил после крохотной паузы. – Однако мне интересно, нашли ли вы в этих книгах знание, которое искали.

– Полагаю, да, – ответил Керин, – потому что я приобрел все знания.

– А отыскиали ли вы к тому же истину?

– О, да! – сказал Керин, говоря теперь без колебаний.

Керин снял с полки самую первую книгу, которую дал ему Склауг, когда Керин был еще молод, – книгу, написанную на коре дерева с помощью божественного сотрудника патриархом Авраамом, когда ужасная тьма пала на него в дубраве Мамре. Книга эта объясняла мудрость храма, различные слова, приносящие удачу, семь способов нарушения неизбежного хода событий и одну вещь, являющуюся несомненно целиком истинной. И Керин открыл эту книгу на картинке, изображающей старого голого евнуха, отхватывающего косой ноги обнаженному юноше, все тело которого покрывало множество небольших ран; затем перелистнул ее, попав на картинку, изображавшую распятого змея; и, пожав плечами, отложил книгу.

– ...Оказывается, – сказал Керин, – что, в конце концов, лишь одна вещь несомненно истинна. Я нигде не нашел иной истины. И эта единственная истина, открытая нам здесь, есть истина, за пренебрежение которой в своих более широко читаемых произведениях патриарха никто не станет винить. Тем не менее, я переписал все слово в слово на этот клочок бумаги, чтобы показать его дорогим ясным очам моей юной жены, обрадовав их.

Но Склауг ответил, не глядя на протянутый листок:

– Истина не имеет значения для мертвых, которые покончили со всеми начинаниями и не могут ничего изменить.

Затем он попрощался с Керинем. И Керин отворил дверь, через которую Склауг обычно выходил на поиски своих скромных забав. И в тот же миг дверь исчезла, а Керин оказался один в сумрачном, опустошенном зимой поле, касаясь пальцами уже не медной ручки, а только холодного воздуха.

Вокруг него поднимались лишенные листьев заросли бузины, а менее чем в двадцати шагах от Керина находился Огдский Колодезь. А за полуразвалившимся каменным ограждением, добрую половину которого кто-то спихнул в колодезь, в зимнем полумраке он увидел восьмиугольный серый дом, где когда-то жил с юной Сарайдой, которую многие называли ведьмой.

Глава XLVII

Расчетливость Сараиды

И мимо зарослей бузины Керин двинулся к своему дорогому дому. Он увидел, как в двери серого дома появилась тень какого-то человека, а затем она проследовала в полумраке по правую руку от Керина. Но у двери стояла в ожидании женская фигура. И Керин, по-прежнему идя вперед, ноябрьскими сумерками вновь пришел, таким образом, к Сараиде.

– Кто этот человек? – первым делом спросил Керин. – И что он тут делает?

– Разве это так важно? – ответила ему Сараида без вскрика или какого-либо другого признака удивления.

– Да, по-моему, важно, что голый мужчина с красным сиянием вокруг тела уходит отсюда в такой час посреди зимы, ибо это может вызвать большой скандал.

– Но его же никто не видел, Керин, кроме моего мужа. И определенно, мой муж не захотел бы поднимать скандал вокруг моего имени.

Керин почесал седую голову.

– Да, – сказал Керин, – это кажется разумным и согласуется с наилучшими из моих знаний. А слово «знания» напоминает мне, Сараида, что ты послала меня на поиски знаний о том, для чего людям дана жизнь, чтобы в свете этих знаний ты смогла бы должным образом распорядиться своей молодостью. В общем, я решил твою проблему, и ответ таков: «Никто не знает». Ибо я приобрел все знания. Со всем, что когда-либо знал какой-либо человек, я теперь знаком – от медицинских свойств коры аабек до фактов биографии мифического царя Яяти. Но я нахожу, что ни один человек никогда не знал, с какой целью ему дана жизнь, да и каким намерениям он может посодействовать или помешать своими передвижениями по земле и воде.

– Я припоминаю, – сказала теперь Сараида, будто слегка изумившись. – Я хотела однажды, когда была молода и когда на мне задерживался взгляд всякого мужчины, я хотела знать истину обо всем. Однако истина, в действительности, неважна для молодых, которые и так счастливы и которые, во всяком случае, не обладают ни проницательностью, ни властью, чтобы что-то изменить. А теперь все это кажется мне странным и незначительным. Ибо ты ушел давным-давно, мой Керин, и я прожила много лет со множеством случайных друзей, покуда ты там внизу получал величайшие знания от птицы, которая обладает истинной мудростью.

– О какой такой птице ты говоришь? – спросил Керин в недоумении. – О да, теперь я тоже припоминаю! Но, нет, это не имеет ничего общего с той старой сказкой, моя дорогая, и в Огдском Колодезе нет Жар-Птицы. Вместо нее там прекрасная научная библиотека. И все знания я приобрел там и, таким образом, решил твою проблему. Но это не конец истории. Ибо ты хотела получить не просто знания, но также и истину. И поэтому я отыскал для тебя одну вещь, которая – будучи высказана, согласно божественному сотруднику Авраама, в мгновение чрезвычайной и, полагаю, похвальной искренности – несомненно истинна. И эту истину я тщательно переписал для тебя на этот клочок бумаги...

Но действительно, трудно понять этих женщин, посылающих тебя на рискованные и довольно-таки продолжительные поиски. Ибо Сараида прервала его без малейшего признака восхищения и удовлетворения или хотя бы гордости за мужнины подвиги, что показалось бы вполне естественным, сказав:

– Для пожилых людей истина неважна. Какой толк от этой истины тебе или мне теперь, когда все годы нашей молодости прошли и в жизни ничего нельзя изменить?

– Вот так! – удовлетворенно заметил Керин, обходя молчанием ее недостаточно высокую оценку своих трудов. – И большая часть нашей жизни ускользнула от нас с тех пор, как я соскользнул с края этого колодца! Но, разумеется, как летит время! Ты что-то сказала, моя дорогая?

– Я застонала, – ответила Сараида, – от того, что ты вновь вернулся со своими избитыми фразами и своей опустошительной пошлостью. Но это тоже неважно.

– Да, конечно. Ибо все, как говорится, хорошо, что хорошо кончается. Поэтому доставай свой талисман, и давай оживим золотое сияние, которое подтвердит истину, что я принес тебе!

Она ответила весьма задумчиво:

– У меня больше нет того талисмана. Он потребовался одному мужчине. И я его отдала.

– Такая щедрость – великая добродетель. И я не сомневаюсь, что ты поступила правильно. Но кому, Сараида, ты отдала камень, который в юности считала бесценным?

– Разве теперь это важно? А на самом деле, откуда я помню? Со мной было так много мужчин, Керин, в эти буйные и веселые годы, ушедшие навсегда. И все они...– Тут Сараида глубоко вздохнула. – О, но я же их любила, мой Керин.

– Наш христианский долг – любить своих ближних. Поэтому я опять-таки не сомневаюсь, что ты поступала правильно. Все же человек устанавливает различия, человек руководствуется, даже в филантропии, инстинктивными предпочтениями. И поэтому мне интересно, по каким таким особым причинам ты, Сараида любила этих людей.

– Они были так красивы, – сказала она, – так молоды, так уверены в том, что должно случиться, и так жалки! А теперь некоторые из них ушли в далекие края земли, а другие ушли под землю в черных узких гробах, а скорлупа оставшихся в округе диковинна: степенна, сморщена и больше неважна. Жизнь – карнавальное шествие, которое проходит очень быстро, поспешно двигаясь из одной тьмы в другую, и путь ему указывают лишь блуждающие огоньки. И во всем этом нет никакого смысла. Я узнала это, Керин, не корпя над книгами. Но жизнь – прекрасный, страстный спектакль. И я любила актеров, участвовавших в нем. И я любила их молодость, их храбрость, их беспочвенную веру и их странные мечты, мой Керин, о собственной значительности и о величии уготованной им судьбы, пока ты занимался – подумать только! – поисками истины.

– И все же, если ты вспомнишь, моя дорогая, именно ты сама говорила, и без сомнения это не забыла, как раз когда толкнула меня...

– Полно! Теперь я говорю, что слишком любила эти безрассудные прекрасные вещи, что даже сейчас не могу разувериться в них полностью. И я удовлетворена.

– Да-да, моя милая, мы оба можем быть удовлетворены. Ибо мы наконец можем хорошенько обосноваться и жить здесь безмятежно, без чрезмерного потакания филантропии. И мы одни будем знать единственную истину, которая несомненно истинна.

– Господи Иисусе! – сказала Сараида и добавила без всякой связи: – Но ты же всегда был таким!

Глава XLVIII

Золотое сияние

Затем они молча перешли из полумрака в темноту дома, который они делили в молодости и в котором теперь не было ни молодости, ни звука, ни света. Однако мерцание мертвенно-бледных угольков, не вполне различимое там, где все остальное казалось мертвым, подсказывало, где находится камин. И Сараида сказала:

– Забавно, что мы еще не видели лиц друг друга! Керин моего сердца, дай мне эту глупую бумажку, чтобы я смогла практично ее использовать и зажечь лампу.

Слегка опечаленный Керин повиновался. И Сараида коснулась нижних, красных углей этой бумажкой, изрекавшей единственную вещь, являющуюся несомненно истинной. Бумага вспыхнула. Керин видел, как быстро исчезает плод долгих трудов Керина. Сараида зажгла лампу. Лампа испустила во все стороны золотое сияние. И при этом чистом и нежном желтоватом свете Сараида подложила дров в камин и прибралась у очага.

После этих мелких хозяйственных дел она повернулась к мужу, и они посмотрели друг на друга впервые с тех пор, как были молоды. Керин увидел сгорбленную, подвижную, далеко не злую ведьму, глядящую на него пронизательным взглядом поверх метловища. Но Керин также увидел, что от горения этой бумажки их маленький восьмиугольный дом стал уютным, теплым и милым на вид. В нем присутствовал даже дух долговечности. И Керин рассмеялся тонким, непринужденным, похожим на ржание смехом пожилого человека.

Ибо, в конце концов (размышлял он), никому не приносит выгоды распознавание – будь то в молодости, в преклонном возрасте или после смерти – того, что время, словно старый завистливый евнух, должно бесконечно уродовать и калечить, и класть конец всему, что молодо, сильно и красиво или хотя бы мило; и что именно такова единственная истина, которая наверняка открывается любому человеку. К примеру, Сараида, похоже, отыскала для себя где-то на полях филантропии единственную вещь, являющуюся несомненно истинной; и она, похоже, предпочитает к тому же ей пренебрегать ради незначительных, поверхностных, сиюминутных житейских дел... В общем, Сараида, как всегда, была права! Вершина настоящей мудрости заключается в обращении с единственной вещью, являющейся несомненно истинной, так, словно она вообще неистинна. Ибо истина беспокоит, и от нее нет лекарств, и она всегда слишком холодна и чужда, чтобы встречаться с ней лицом к лицу. Между тем в знакомом и поверхностном, в умеренных телесных наслаждениях человек находит определенную радость...

Керин сдержанно поцеловал жену и не менее сдержанно спросил:

– Моя дорогая, а что у нас сегодня на ужин?

Глава XLIX

Род Нуантелей

Таким образом, в ноябре, после встречи Гуврича с Силаном, Керин Нуантельский вернулся в Пуактесм, чтобы стать еще одним новообращенным приверженцем легенды о Мануэле.

Керин был обращен в веру почти немедленно. Ибо, когда стало известно о возвращении Керины, Гольмендис тотчас же отправился в путь, творя по дороге весьма опустошительные чудеса среди разнообразных злых и двусмысленных духов, что еще затаились в сельской местности. Теперь святой без какого-либо милосердия и без разбора заточал всех подобным образом выявленных бессмертных в стволы деревьев, сухие колодцы и освященные бутылки и высылал их в скудные и печальные места ожидания священного Дня Суда. С Гольмендисом, в качестве помощника в этих похвальных трудах, разъезжал призрак Мудреца Гуврича.

И когда Святой Гольмендис и Хват-Без-Хребта (в украденном теле Гуврича) поговорили с Керином Нуантельским о великом культе Спасителя Мануэля, созданном во время подземных поисков Керином знаний, и показали ему святую гробницу в Сторизенде и сверкающую, украшенную драгоценными камнями статую Мануэля, и поведали о вознесении Мануэля на небо, старый Керин лишь прищурил кроткие, внимательные и усталые глаза.

— Очень похоже на правду, — сказал Керин, — так как именно Мануэль дал нам, пуактесмцам, закон, что все всегда должно считать десятками.

— Но что, — спросил Хват в явном, но дружелюбном изумлении, — тут общего?

— Я узнал, что немалое количество людей попало живыми на небо. Я, конечно, подразумеваю Еноха, чей запах херувимы нашли настолько неприятным, что отворачивались от него на расстоянии в пять тысяч триста восемьдесят лье. Я подразумеваю также Илию, раба Авраама Елиезера, царя Тирского Хирама, ефиопа Авдемелеха, сына князя Иегудия Иависа, дочь фараона Вирсавию, дочь Асира Сару, сына Леви Иешуу, который вошел туда не через ворота, а перелез через стену. И я считаю, вполне похоже, что дон Мануэль решил сделать из этой компании, как он поступал со всем остальным, десятку.

Тут Гольмендис с большим сомнением произнес:

— В общем!..

И Гольмендис заговорил снова о Мануэле...

— Это тоже кажется достаточно похожим на правду, — согласился Керин. — Я узнал, что такие вестники богов посылались на землю к нашему роду с завидной регулярностью каждые шестьсот лет. Енох, о котором я говорил лишь минуту назад, стал первым из них в шестисотом году от рождения Адама. Затем, в качестве счастливого итога любовной связи между одной монгольской императрицей и радугой в этом мире появился Фу-си — через шестьсот лет после Еноха. А через шестьсот лет после Фу-си к индусам был послан Бхригу. Через такой же промежуток времени или около того к персам пришел Зороастр, а потом к египтянам Трижды Величайший Тот, потом к евреям Моисей, а потом к народам Китая Лао-цзы, а потом к язычникам Павел из Тарса, а потом к исламским народам Мухаммад. Мухаммад процветал как раз за шестьсот лет до нашего Мануэля. Да, мессир Гольмендис, тут также достаточно похоже, что Мануэль решил стать десятым.

Затем благочестивый и кроткий старый Хват-Без-Хребта начал говорить с радостью и благоговением о триумфе второго пришествия Мануэля...

— Без сомнения, дорогой Гуврич. Ибо я узнал, что все великие военачальники приходят вновь, — сказал Керин почти что устало. — Существуют Артур, Ожьер, Шарлемань, Барбаросса, сын Кумалла Финн — короче, в каждой стране существует предсказание о герое, который вернется в предписанное ему время и принесет с собой великолепие и процветание. Также должны вернуться принц Сиддхартха, Саошьянт, Александр Македонский, и, к примеру, также ожидается возвращение Сатаны для его последнего веселья незадолго до Страшного Суда. Поэтому здесь я вновь считаю, весьма похоже, что дон Мануэль может

решиться и стать десятым.

Одним словом, старина воспринял Пуактесмское богоявление очень спокойно... Хват был удовлетворен по причине того, что обращение в веру для всех ангелов рая – приятная прогулка. Но было очевидно, что Святому Гольмендису не совсем нравилось такое положение вещей... Конечно, нельзя было выявить в таком безразличном приятии какого-либо неверия. Да и нельзя человека, зашедшего слишком далеко, называть скептиком. Скорее всего, было так, что Керин рассматривал истину без всякой радости; словно Керин каким-то образом уже был хорошо знаком с высшими истинами о Спасителе Мануэле, прежде чем о них услышал; и поэтому слушал их, в конце концов, без надлежащей приподнятости и жизнерадостности. Керин просто признал эти грандиозные истины и, по-видимому, в целом больше интересовался незначительными, поверхностными, сиюминутными житейскими делами и едой.

Гольмендис наверняка ощущал, что конкретных недостатков здесь не обнаружить. Во всяком случае, он потряс головой, обрамленной нимбом, и, заговорив на языке родной Филистии, сказал что-то Хвату-Без-Хребта – чего Хват вообще не мог понять – о «так называемой интеллигенции». Но Гольмендис не прибег к какому-нибудь жуткому чуду, от которого бы напуганный им старый Керин пришел в более соответствующее обстоятельствам возбуждение и радость...

Однако Керин Нуантельский ощутил безграничную радость и, на самом деле, радость, удивившую всех окружающих, когда он увидел и обнял прекрасного сына по имени Фопа, которого Сараида родила на пятом году подземного учения Керина. Ибо знания Керина открыли ему, что столь сильно затянувшийся период беременности неминуемо возвещает о будущем величии младенца, – факт, доказанный рождением Осириса, некоторых других богов и всех слонов, – и он сделал вывод, что его сын, так или иначе, достигнет всемирного превосходства.

И такое заключение оказалось довольно-таки истинным, поскольку именно Фопа де Нуатель возглавлял войска графа Эммерика в злосчастные дни мятежа Можи д'Эгремона и правил Пуактесмом вместо сына Мануэля до тех пор, пока не пришла подмога от графа де ла Форэ. По крайней мере, в течение двенадцати лет этот сын Керина имел превосходство над всеми своими сотоварищами, а двенадцать лет – значительный кусок жизни для любого человека. А старшим сыном Фопа де Нуателя был тот самый Ральф, что женился на госпоже Аделаиде, дочери графа де ла Форэ и внучке донна Мануэля, и построил в Нуантеле огромный замок с семью башнями, сохранившийся до сих пор.

Книга Восьмая

Откровенный след

*«Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы
помазанника Твоего».*

Псалтирь, 88, 52

Глава I

Неосторожность бейлифа

Дальше история рассказывает, что в день рождения первого сына графа Эммерика в законном браке при вспомоществовании жены его Радегонды было произнесено столько тостов и здравиц, сколько в Сторизенде никогда прежде не слыхивали. История свидетельствует о знатном банкете, где на каждую пару персон приходилось по двенадцать блюд при огромном количестве вина самого лучшего качества и пива. На галерее менестрелей разместились скрипачи, трубачи и барабанщики, и подбрасывавшие бубны, и игравшие на флейтах. Меж тем десяток поэтов прославляли подвиги дон Мануэля, в живейших красках доказывая неминуемость второго пришествия Спасителя в Пуактесм во главе ужасного небесного кортежа. А между тем собравшиеся выпивали и закусывали, а стихи опьяняли наряду с красным и белым вином.

Поскольку поэмы были довольно длинными для бейлифа Верхней Ардры, все увеселения привели в итоге к тому, что он отбыл домой, икая и находясь даже в более благодушном настроении, чем обычно, и не осознавая, что этот неверный шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на земле.

Ибо Нинзиан Яирский и Верхне-Ардрский не всецело порвал с героическим духом тех лет, когда Пуактесмом правил дон Мануэль. Это казалось весьма прискорбным хотя бы потому, что Нинзиан, бывший всегда благочестивым и великодушным человеком, с возрастом должен был остепениться. Теоретически он одобрял все реформы, проводимые повсеместно графиней Ниафер и утверждаемые графиней Радегондой. А на практике Нинзиан, конечно же, являлся верным союзником своего благого и близкого товарища, Святого Гольмендиса, во всех целительных крестовых походах против эльфов, сатиров, троллей и других выживших неканонических существ из неортодоксальной мифологии и против вольнодумцев, ставящих под сомнение легенду о Мануэле, и в гонениях святого на демонов, и в казнях еретиков, и во всех других богоугодных делах. Но тем не менее было бесспорно, что в добродушном и пышущем здоровьем бейлифе Верхней Ардры сохраняется некий пережиток буйных обычаев мануэлева земного рая.

Как следствие, Нинзиан не пропустил на банкете, устроенном графом Эммериком, ни одного тоста и не оставил ни одного своего друга без здравицы. И Нинзиан пил вина орлеанские, анжуйские и бургундские; осерские и бонские; сен-жанские и сен-порсенские. Пил он мальвазию, монтроз, вернаж и рюни. Пил он греческие вина: как патрас, так и фарнес. Пил он имбирное пиво, пил он мускатель, пил он ипокрас. Он не пренебрег как обычным сидром, так и грушевым. К сладким белым игристым винам Вольнея он признавал и выказывал свое особое пристрастие. И он также обильно пил эльзасский херес и венгерский токай.

После чего Нинзиан возвратился домой с очаровательным рядком в голове, который – у такого свободного от предрассудков участника всех благочестивых деяний и преследований – могли простить Святой Гольмендис и все остальные, кроме лишь одной особы. Дело в том, что Нинзиан был женат.

Глава LI

Странная птица

На следующий вечер Нинзиян с женой прогуливался по саду. Они представляли собой приятную пару, а возвышенные чувства, которые они испытывали друг к другу в молодости, стали предметом воспевания для многих поэтов. К тому же эти чувства пережили свои лучшие годы лишь с незначительными потерями, и Нинзиян за долгое время после данных обещаний вечной верности, как известно, породил только одного внебрачного отпрыска. Но даже это, как он обстоятельно объяснял, произошло исключительно из соображений благотворительности. Ибо уважаемый всеми, богатый и старый Петтипа, ростовщик из Бовилажа, жил, не имея детей, с полногрудой молодой второй женой почти три года, пока Нинзиян, в минуты досуга, не одарил заслуживающую того чету юной наследницей.

Но, в основном, Нинзиян предпочитал свою худую и набожную супругу всем остальным женщинам даже после стольких лет, прошедших с того времени, когда он завоевал ее в расцвете своей полной приключений молодости. Теперь они, дожившие до вечера своих лет, освещались золотыми лучами заката, идя по вымощенной белыми и голубыми плитами дорожке. А с обеих сторон их обступали глянцево-лиловые листочки и алые цветы ухоженных кустов роз. Вот так они ожидали Святого Гольмендиса, своего коллегу по разнообразной церковной деятельности и улучшению общества, ибо блаженный обещал с ними поужинать. И Бальфида (так звали жену Нинзияна) сказала:

– Посмотри-ка сюда, мой милый, и скажи, что это такое?

Нинзиян исследовал клумбу у дорожки и ответил:

– Моя дорогая, кажется, это след птицы.

– Но наверняка в Пуактесме нет пернатых с такими огромными ногами!

– Нет. Но в это время года ночью по пути на юг множество перелетных чудовищ минует Пуактесм. И очевидно, одна из представительниц какого-либо редкого вида остановилась здесь отдохнуть. Однако, как я тебе говорил, моя хорошая, у нас сейчас в руках...

– Но подумай, Нинзиян! Отпечаток величиной с человеческую ступню!

– Полно, моя драгоценная, ты преувеличиваешь! Это след крупной птицы – здесь остановился орел или, вероятно, рух, или, может быть, Жар-Птица, – но в этом нет ничего необычного. Кроме того, как я тебе говорил, у нас уже есть на руках для поучения верующих лоскут косынки Марии Магдалины, левый безымянный палец Иоанна Крестителя, комплект белья дон Мануэля и один из самых маленьких камней, которыми забили Святого Стефана...

Но Бальфида, как он видел, решила не продолжать разговор о церкви, которую Нинзиян построил в честь Спасителя Мануэля и которую Нинзиян снабдил самыми что ни на есть священными реликвиями. Вместо этого она, тщательно подбирая слова, заявила:

– Нинзиян, по-моему, она величиной со ступню взрослого человека.

– Пусть будет так, как тебе угодно, моя хорошая!

– Но от меня так просто не отделаешься! Встань рядом на клумбу и, сравнив отпечаток твоей ноги и птичьей, мы легко увидим, какой из них больше.

Нинзиян уже не был таким румяным, как прежде. Однако он сказал с достоинством и, как он надеялся, довольно-таки непринужденно:

– Бальфида, будь благоразумна. Я не намерен пачкать свои сандалии в грязи, чтобы решить такой дурацкий вопрос. След точно такой, как размер человеческой ступни, или он больше человеческой ступни, или он меньше человеческой ступни... он, короче говоря, любого размера, который ты предпочтешь. И давай на этом закончим.

– Так ты, Нинзиян, не наступишь на эту недавно вскопанную землю? – весьма странно спросила

Бальфида.

– Конечно, я не буду портить даже свои старые сандалии по такой дурацкой причине!

– Ты вставал сюда вчера в своих самых лучших сандалиях, Нинзиян, по той простой причине, что накачался. Я видела твой отпечаток при свете дня, Нинзиян, когда ты только пришел с попойки вместе с самым святым и куролесил по моему саду. Нинзиян, страшно узнать, что, когда твой муж ступает в грязь, он оставляет следы, словно птица.

Тут Нинзиян поистине раскаялся во вчерашнем излишнем потворстве своим желаниям. И Нинзиян сказал:

– Так ты обнаружила мою слабость, несмотря на всю мою осторожность! Очень жаль.

Бальфида ответила с холодной уклончивостью всех жен:

– Жаль или нет, но теперь тебе придется рассказать мне всю правду.

Эта задача, по сути дела, казалась настолько отвратительной и неизбежной, что Нинзиян взялся за нее с такой легкостью, которая бы предупредила любую жену на свете, насколько ему можно доверять.

– В общем, моя дорогая, ты должна знать, что, когда я впервые появился в Пуактесме, я появился здесь скорее не по своей воле. Нет нужды говорить тебе, что наш друг, Святой Гольмендис, еще во времена воплощения дона Мануэля в брентную человеческую плоть установил в округе такой высокий моральный дух (да и сейчас святой со всеми своими чудесами весьма порывист, когда кто-либо расходится с ним в религиозных вопросах), что перспективы казались далеко не самыми заманчивыми. И было необходимо, чтобы здесь, как и повсюду, находился представитель моего князя. Так что я прибыл из... в общем, оттуда...

– Я знаю, что ты прибыл из южных стран, Нинзиян! Все это знают. Но мне кажется, это не извиняет того, что ты ходишь как птица.

– Словно, моя дражайшая, мне доставляет удовольствие ходить как птица или как целая стая птиц! Наоборот, я всегда находил, что это мое маленькое достоинство отдает дурным вкусом. Оно требует постоянных объяснений. Но с очень давних пор те, кто служит моему князю, в качестве особого отличия наделяются таким следом для того, чтобы могли быть подчеркнуты воистину дурные черты, сохранена прекрасная мужественность, а также чтобы наши противники в великой игре могли нас узнавать.

Тут широко открытые, скорбные и испуганные глаза Бальфиды уставились на него. Затаив дыхание, она сказала:

– Нинзиян, я понимаю. Ты – злой дух, и ты вышел из ада в человеческом облике, чтобы насаждать в Пуактесме порок!

И его Бальфида, как он видел с безумно мучительным сожалением, была ужасно взволнована и огорчена, узнав то, что так долго скрывал от нее муж. И Нинзиян начал ощущать стыд из-за того, что раньше не доверил ей свою тайну, раскрывшуюся теперь. В любом случае, он мог бы попытаться объяснить.

– Дорогая, – сказал он рассудительно, – ни одна благоразумная жена никогда не станет совать нос в то, кем был или что делал ее муж до женитьбы. Ее забота – его проступки после брачной церемонии. И по-моему, у тебя нет веских причин жаловаться. Никто, даже при всем желании, не может утверждать, что в Пуактесме я не вел себя честно и безупречно.

Она с негодованием сказала:

– Ты страшился Гольмендиса! Ты проделал такой длинный путь, чтобы заняться своей дьявольской работой, а потом у тебя не оказалось смелости посмотреть ему в глаза!

Нинзиян нашел эти слова достаточно близкими к истине, чтобы из-за них раздражаться. Поэтому он заговорил теперь с легкой снисходительностью.

– Драгоценная моя, несомненно, что этот тощий человек может творить чудеса, но, не желая показаться хвастуном, я должен сказать тебе, что владею более древней и более черной магией. О, уверяю

тебя, он не смог бы, не попотев основательно, изгнать из меня духа, отлучить меня от церкви или испытать на мне любой другой из своих священных фокусов! Все же мне казалось, что лучше избегать таких мучительных сцен. Ибо при возникновении неприятностей с этими святыми в дело склонны вмешиваться союзники с обеих сторон. Небеса чернеют, земля сотрясается, смерчи, метеориты, грозы и серафимы, как правило, переворачивают все вверх дном. А подобное выглядит довольно-таки неуместным и старомодным. Так что, в действительности, кажется более благоразумным и исполненным хорошего вкуса уважать, при любых обстоятельствах, религиозные убеждения человека, имеющего добрые намерения, которые, знаю, ты разделяешь, моя хорошая, короче, – сказал Нинзиян, пожав плечами, – необходимо приспосабливаться! Понимаешь, улаживать все вокруг, моя дорогая, выказывая надлежащий интерес к церковным делам и ко всему, чего, похоже, ожидают в моем окружении от добропорядочного человека.

Но Бальфиду это не смягчило.

– Нинзиян, для меня ужасно узнать все это! Не было мужа, который бы лучше знал свое место, и единственный ребенок, которым ты меня огорошил, был тот ребенок ростовщика, и у Святой Церкви никогда не было более верного слуги...

– Да, – тихо сказал Нинзиян.

– ...Но ты оказался отвратительным демоном из глубин ада, а человек, которого я любила, всего лишь фальшивая видимость, и в тот миг, когда Святой Гольмендис достигнет вечного блаженства, ты намерен продолжить свои мерзкие непотребности. С твоей стороны глупо на это надеяться, поскольку я, конечно, никогда этого не допущу. Но при всем при том!.. Ох, Нинзиян, моя вера и мое счастье похоронены теперь в одной могиле, и между нами все кончено!

Нинзиян по-прежнему очень тихо спросил:

– И ты думаешь, моя милая Бальфида, что я покину тебя из-за какой-то вытоптанной клумбы? Могла ли горсть земли разлучить нас, когда из-за своей великой любви к тебе я сражался в Эвре с семьей рыцарями одновременно...

– Какой шанс был у несчастных в схватке с дьяволом?

– Это основа всего, моя дорогая... как и математика. К тому же, я продолжаю отмечать, что ты ни за что бы не бросила мне в лицо грязь, когда я ради тебя уничтожил герцога Орибера и его прискорбный обычай с котом и змеем и скинул в Лорче с высокого холма Оporоченный Замок.

Она же безжалостно ответила:

– Тебе посчастливится выбраться из этой грязи целым и невредимым. Ибо именно в этот вечер Святой Гольмендис слушает мою исповедь, и я должна буду исповедаться во всем, и ты знаешь, как и я, о его опустошительных чудесах.

После неудачи с обращением к лучшим чувствам жены Нинзиян стал апеллировать к ее здравому смыслу.

– Бальфида, моя ненаглядная, в конце концов-то, в чем ты меня упрекаешь? Ты не можешь не чувствовать, что без сомнения неблагоразумный бунт, в котором я принимал участие в молодости, несметное число эонов до того, как появилась эта Земля, имел место достаточно давно, чтобы о нем забыть. Кроме того, ты знаешь по опыту, что мной слишком легко руководят другие, что я так и не научился, как ты это красноречиво выразила, проявлять твердость характера. Да я, в действительности, и не вижу, как ты можешь сегодня требовать наказаний за преступления, которые, признай это, я никогда не совершал, но – как ты предполагаешь без каких-либо оснований – лишь смутно размышлял о скором совершении которых, а возможно, и не в самое ближайшее время, моя обожаемая, надувшаяся детка, потому что этот строгий Гольмендис кажется жестким, как подошва...

Оправдывания Нинзияна смолкли. Он видел, что Бальфиду ничто не трогает.

– Нет, Нинзиян, я просто не могу вынести мужа, ходящего как птица, которого распознают во время следующего же дождя. Я буду об этом думать день и ночь, а люди станут болтать. Нет, Нинзиян, это совершенно бесспорно. Я сейчас же соберу твои вещи, и ты можешь по своему выбору отправляться в ад или к этой хихикающей, дурно воспитанной подружке в мерзкую лавку ростовщика. И я оставляю на твоей

совести, что, после того как столько лет я ишачила на тебя, ты нашел право так несправедливо и предательски меня разыграть.

И Бальфида также сказала:

– Ибо эти великие несправедливость и предательство, Нинзиян Яирский, отняли у меня такую любовь, равной которой не найти ни в одном из благородных уголков сего мира до конца жизни и времени. Твои уста изрекали мудрость и произносили сладкие речи, в серых глазах Нинзияна Яирского светилась доброта, твои руки были сильны в обращении с мечом, и ты выглядел самым великодушным из всей этой компании в течение многих дней, да и ночей тоже. Я получала от всего этого истинное наслаждение, я все это уважала. Я не думала о низком болоте, я не видела, какие ужасные следы ты оставляешь повсюду.

Затем Бальфида сказала:

– Пусть вместе со мной плачут все женщины, ибо теперь я знаю, что любви каждой женщины предписан подобный конец. Ни одна женщина не отдает мужчине все без остатка, но женщина растрчивает свою сущность в спальне и на кухне ради некоего ненасытного незнакомца, и ни одну жену не минует горький час, когда ее огорошит подобное открытие. Так что давай пожмем друг другу руки, и пусть к тому же наши губы расстанутся по-дружески, поскольку наши тела так долго были друзьями, покуда мы ничего не знали друг о друге. Да, пусть они расстанутся, Нинзиян Яирский, из-за великих несправедливости и предательства, которые ты совершил по отношению ко мне.

Сказав это, Бальфида поцеловала его. Потом она пошла в дом, который уже больше не был домом Нинзияна.

Глава LII

Чертовы угрызения совести

Нинзиян сел на каменную скамью с высеченными по краям лежащими сфинксами, стал ждать, когда за тополиной рощей погаснет солнечный свет. Это мгновение не могло не показаться кому угодно чреватым всякими опасностями. Должен был прийти Гольмендис, и Гольмендис вскоре бы услышал исповедь Бальфиды, а эти святые чересчур часто становятся жертвой легкой возбудимости, наносящей ущерб их делу.

Этот порывистый Гольмендис вполне способен немедля прибегнуть к необузданному совершению чудес и Небесным огнем уничтожить своего ведущего помощника в попытке альтруистического вмешательства, даже не приостановившись на секунду, чтобы здраво подумать, какой гибелью окажется в итоге этот скандал для реформ и подъема собственного авторитета Святого Гольмендиса. Впоследствии Гольмендис без сомнения пожалеет об этом, но не получит сочувствия от Нинзияна.

А между тем Нинзиян любил свою жену так сильно, что длительное существование без нее казалось ему невыносимым. Его жена, какой бы она ни бывала, всегда оставалась для Нинзияна самой милой на свете. И теперь, когда он оглядывался в прошлое, на ту безумную любовь, которую он питал к своей жене в Ниневи, Фивах, Тире, Вавилоне, Риме, Византии и во всех остальных городах, воспитывающих прекрасных женщин, и когда он оценивал исчезновение этой любви, ускользнувшей от него через несколько тысячелетий, Нинзияну казалось прискорбным, что его пора земного удовлетворения должна вот так пресечься в самом расцвете и безвременно увянуть.

Кроме того, Нинзияна тревожила совесть. Ибо бес не был с Бальфидой откровенен до конца, и Пуактесм ни в коей мере не являлся ареной первой неудачи уступчивого, беспечного малого. Так что теперь он с грустью думал о том, насколько же он не преуспел в своей миссии на Земле начиная с того времени, когда впервые появился на горе Каф, чтобы принести людям несчастье во времена задолго до Потопа; и он уныло просмотрел отвратительный перечень добродетельных поступков, в которые втянули его женщины.

Причиной каждого падения Нинзияна всегда являлась одна из них. Он неосторожно болтал с какой-нибудь прелестной девушкой, и его дьявольское красноречие так воздействовало на нее, что девушка неизменно выходила за него замуж и безудержно принималась делать из своего супруга добропорядочного гражданина. Возражения ни к чему не приводили. Казалось, женщины нигде не сочувствуют предназначению Нинзияна на Земле. Они, похоже, обладали инстинктивной тягой к Небесам и публичным признаниям всех добродетелей. Точно так же, как в случае с беднягой Мирамоном Ллуагором (размышлял Нинзиян), жену Нинзияна совсем не волновала карьера ее мужа и надлежащее развитие его дарований.

Затем Нинзиян внезапно вспомнил причину беспокойств, осложнявших его жизнь. Он вынул кинжал и, сев на корточки посреди мощеной дорожки, заровнял этот компрометирующий его отпечаток ноги.

И в тот же миг Нинзиян исчез.

Глава LIII

Продолжение ужасного благочестия

И в тот же миг Нинзиян исчез, но он появился из небытия как раз вовремя, чтобы удариться ни во что иное, как в энергичную крепкую плоть Святого Гольмендиса, идущего этим прохладным вечером по дорожке сада. Внезапно появившись, Нинзиян толкнул святого достаточно грубо. Поэтому Нинзиян извинился за свою неловкость и объяснил, что завтра собирается на рыбную ловлю и сейчас копает червей. И Нинзиян ощутил беспокойство, ибо не знал, насколько много этот вспыльчивый и чересчур возбудимый святой из Филистии видел и подозревал и не может ли он в следующий же миг предпринять какое-нибудь свое топорное чудо.

Но Гольмендис дружелюбно сказал, что кости целы, и заговорил дальше с холодящей душу жизнерадостностью священнослужителя, дабы произнести какую-нибудь гнетущую шутку насчет ловцов человеков.

– И я потому здесь, – сказал святой, – что сегодня вечером госпожа Бальфида должна исповедаться мне во всем, что отягощает ее совесть.

– Да-да, – любезно согласился Нинзиян, – но мы оба знаем, мой дорогой почтенный друг, что у Бальфиды необычайно восприимчивая совесть – совесть, которая чувствительна к неверным шагам других, как натертый мизинец ноги.

– Такой следует быть совести всех людей, – ответил святой, продолжая говорить о добродетельной женщине, являющейся венцом своего супруга. И он провел резкое различие между прекрасным и возвышенным достоинством Бальфиды и бесстыдством грязной нищенки, которую прямо у ворот святой поразил параличом и божественным огнем за чересчур легкомысленную болтовню о втором пришествии Мануэля.

Нинзиян поежился. Он, конечно же, с сочувствием сказал, что пошлет слуг убрать обугленные останки, и что это должно послужить хорошим уроком, и что нет и разговоров о том, куда зайдет мир, если здравомыслящие люди не предпримут решительных шагов в надлежащих направлениях. Тем не менее ему не нравились жесткий, сжатый ротик и блестящие, бледно-голубые глазки этого изможденного святого. А нимб над густыми седыми волосами Гольмендиса начинал сиять все ярче и ярче по мере сгущения сумерек. Нинзиян чувствовал себя неуютно наедине с этим чудотворцем. Благочестие так непредсказуемо. И Нинзиян неподдельно обрадовался, когда Бальфида вышла из их милого дома, который уже не был домом Нинзияна, и когда Бальфида придержала дверь для Гольмендиса, а Нинзиян уже больше не мог туда войти.

Однако милосердность женщин настолько живуча, что даже после того, как Гольмендис вошел, госпожа Бальфида попыталась в последний раз здраво и по-доброму поговорить с мужем.

– Свинья с ослиной головой, – сказала она, понизив голос, – прекрати смотреть на меня как больной теленок и уходи прочь! Ибо я должна исповедаться, в каком грехе жила, будучи женой дьявола, а у меня мало веры в твою черную магию, и ты знаешь, как и я, что не определить, в ствол какого проклятого дерева, в какую освященную бутылку или еще во что он может тебя заточить до Дня Суда точно так же, как он поступил со всеми остальными злыми духами,

Нинзиян ответил:

– Я никогда не покину тебя по собственной воле.

– Но, Нинзиян, получается так, словно ты сам лезешь в бутылку! Ибо, если я не расскажу всего этому язвительному старому мешку с костями, – она перекрестилась, – я имею в виду, этому всеми любимому и благословенному святому, он же никогда и не почует, или скорее, я хотела сказать, что его вера в своих собратьев слишком велика и восхитительна, чтоб он когда-либо стал подозревать тебя, и ты сам видишь, как обстоят дела!

– Да, моя самая жестокая любовь, – сказал Нинзиян, – получается так, словно ты сама заталкиваешь

меня в бронзовую бутылку, ибо знаешь, что мне необходимы прогулки на свежем воздухе, и ты словно накладываешь на нее несокрушимую печать Сулеймана-бен-Дауда своими собственными руками. Но тем не менее!..

Он взял ее руку и галантно поцеловал в кончики пальцев.

При этом она ударила его в челюсть.

– Не надейся, что ты меня одурачишь! Нет, больше никогда, после всех-то этих лет! О, я тебе покажу!

Тут Бальфида вошла в дом, где изможденный святой готовился выслушать ее очередную ежемесячную исповедь.

Глава LIV

Запущенная магия

Робкий, не по годам беспечный Нинзиян сел на каменную скамью, будучи теперь изгоем в своем собственном саду. И он какое-то время думал о безжалостных чудесах, которыми этот Гольмендис, травил в Пуактесме фей, эльфов, саламандр, троллей, калькаров, суккубов и все остальные вполне миролюбивые непотребства; и об опустошительных крестовых походах этого святого против моральной распущенности, свободомыслия и о скоротечных выводах, которые он делал с помощью веревки и огня, в отношении существования ереси. Казалось весьма вероятным, что, имея дело с дьяволом, этот неистовый и нетактичный Гольмендис пойдет еще дальше и отбросит всякую жалостливость, если Нинзиян не сможет с ним как-нибудь справиться.

Поэтому Нинзиян решил действовать более безопасно, немедленно уничтожив этого малого. Нинзиян вынул из кармана каменный эматиль и срезал ветку с куста роз. Цветущей веткой розы Нинзиян обвел свою елейную особу широкой окружностью, сказав при этом:

– Я инфернализирую радиус в три элля вокруг себя!

Тут им трижды был начертан знак Саргатанета. Затем Нинзиян продолжил:

– С Востока, Главраб; с Запада, Гаррон; с Севера...

Он приостановился и почесал затылок. Он знал, что северным словом власти было или Кабинет, или Кабохон, или Каприкорн, или что-то в этом роде. Но что именно, Нинзиян точно забыл. Ему придется попробовать нечто иное.

Поэтому Нинзиян решил свергнуть Гольмендиса холодом и жаром. Нинзиян сказал:

– Я вызываю Тебя, который существует в пустом ветре, ужасного, невидимого, всемогущего создателя разрушений и вестника опустошений. Я поднимаю пред Тобой этот прут, из которого проистекает ненавистная Тебе жизнь. Я вызываю Тебя посредством Твоего настоящего имени, благодаря чему Ты не можешь меня не услышать – ИОЕРВЕТ-ИОПАКЕРВЕТ-ИОВОЛХОСЕТ...

Но тут он прервался. Это жуткое, труднопроизносимое, непристойное имя, как вспомнил Нинзиян, имело еще одиннадцать составляющих. Но в смущенном мозгу Нинзияна все они перепутались и безнадежно перемешались.

После этого весьма встревоженный бейлиф изменил подход к делу. И теперь он пытался войти в контакт с Невиром, фельдмаршалом и генеральным надзирателем Ада. Но опять-таки в руках Нинзияна эта магия оказалась прискорбно запущенной.

– Агла, Тагла, Мальтой, Оариос... – затараторил он достаточно ловко и еще раз завяз в отвратительно длинных и незапоминаемых словах. Черная магия не являлась знанием, в котором можно оставаться сведущим без постоянной практики. А Нинзиян, к сожалению, пренебрегал инфернальными искусствами последние пять столетий, если не больше.

Поэтому в таком отчаянном положении он волей-неволей обратился к элементарному, азбучному заклинанию, которым пользовались простые волшебники. И бейлиф Верхней Арды довольно-таки позорно произнес:

– Князь Люцифер, самый ужасный господин всех мятежных Духов, прошу Тебя не отказать мне в просьбе, которую передаю Твоему могущественному министру Люсифюжэ Рофокалэ, желая заключить с ним некоторое соглашение...

И по крайней мере, это обращение Нинзиян закончил вполне гладко, хотя и слегка переставил заключительные слова Великой Ключицы.

Несмотря на это, заклинание сработало даже слишком хорошо. Ибо вместо ожидаемого появления добродушного старого Люсифюжэ Рофокалэ, приемлемо источающего свой обычный запах, к Нинзияну из благоухающих кустов роз вышел надменный на вид господин в черном с золотом одеянии. И весьма

смущенный Нинзиян очень низко поклонился своему сеньору Люциферу, Князю всех Падших Ангелов.

Глава LV

Князь Тьмы

Возникший господин помолчал, словно читая мысли во встревоженном мозгу Нинзияна, а затем сказал:

– Понятно. Суркраг, которого смертные здесь называют Нинзияном! О неверный слуга, ты должен быть наказан за то, что предал веру, которую я вложил в тебя. Теперь грядет скорое воздаяние от этого хищного святого, который безжалостно избавится от тебя, ибо твои заклинания опозорили бы даже младенца в пеленках. Ты давным-давно забыл все те крохи, которые знал. И когда Гольмендис схватит тебя одной рукой и изгонит из тебя духа другой, едва ли останется хоть горстка золы.

Нинзиян это сам знал, одиноко находясь между гневом зла и злобой святости, собравшихся его уничтожить. Он сказал:

– Имейте терпение, мой князь!

Но Люцифер твердо ответил:

– Мое терпение исчерпалось. Нет, Суркраг, у тебя нет надежды, и ты становишься бесстыдным в своем вероломстве, постоянно делаясь все лучше и лучше. Когда-то ты презирал малейшее отклонение от веры, которой мне обязан. Но мало-помалу ты находил компромиссы с добродетелью из-за своего глупого желания жить в мире со своими женами, и это постоянное потворство женским взглядам выдавило из тебя последнюю каплю порочности. Пятьдесят веков тому назад ты был бы потрясен какой-нибудь доброй мыслью. Двадцать веков назад у тебя, по крайней мере, сохранялось надлежащее чувство к Десяти Заповедям. Теперь же ты помогаешь всем этим реформам и не краснея строишь церкви. Существует ли сегодня, мой заблудший, пропащий Суркраг, откровенно говоря, существует ли какая-нибудь возвышенная добродетель, существует ли возмутительная порядочность или какая-либо форма набожности, от которых тебя тошнит? Нет, мой бедный друг. Ты пришел сюда развратить человечество, а вместо этого тебя сделали подобным обыкновенным людям.

Ангел Тьмы умолк. Он говорил, как и подобает такому знатному господину, очень сдержанно, без гнева, но также и не скрывая печаль и разочарование. И Нинзиян с раскаянием ответил:

– Мой князь, я знаю, что не всецело придерживался веры. Но женщина всегда искушала меня странными представлениями о том, что наши забавы следует начинать с религиозного обряда, и вот так меня то и дело соблазняли жениться. А моя жена, неважно, какие глаза, волосы и цвет кожи она имела в то время, всегда была склонна иметь мужа, уважаемого ближними. А при таких обстоятельствах у бедного дьявола нет никаких шансов на успех.

– Так что эти женщины стали твоей погibelью, и даже сейчас самая последняя из них выдает твою тайну этому неумолимому святому! Я считаю, что это inferнальная справедливость, ибо со времен Каюмарса ты в этом месте не нашел мне ни одного последователя и открыто жил в добродетели, тогда как должен был расширять мою власть на Земле.

Сказав это, Люцифер сел на скамью. Тогда Нинзиян тоже сел и наклонился к другому бессмертному во все сгущающихся сумерках, и полное лицо Нинзияна стало грустным.

– Мой князь, какое это имеет значение? С самого начала я позволил своей любимой жене командовать мной, поскольку это ей льстило и не порождало никакого настоящего добра. Какое значение имеют эти человеческие взгляды, пусть и в такой милой форме? Немного времени спустя не будет ни Яира, ни Верхней Ардры, ни сверкающего священного надгробия в Сторизенде, и весь Пуактесм будет забыт. Немного времени спустя эта Земля станет холодной, как лед, золой. Но мы с вами по-прежнему будем заниматься своей работой, будем по-прежнему играть Вселенной, используя звезды и светила в качестве фишек. Действительно ли для вас имеет значение, что в течение того времени, пока существует эта крошечная вертлявая Земля и на ней имеются женщины, я прекратил играть в великую игру, чтобы воспользоваться этим удачным случаем?

Люцифер ответил:

– Меня тревожит только потерянное тобой время, твое увиливание от выполнения inferнального долга и твой херувимский недостаток серьезности. Только подумай, сколько тысяч женщин прошло через твои руки!

– Да, словно нить жемчуга, мой князь, – с любовью сказал Нинзиян.

– Не детская ли это забава для тебя, привыкшего получать удовольствие от великой игры?

Но Нинзиян сейчас собрался с духом и заговорил быстро и непринужденно:

– Вспомните стародавние времена, мой князь, – заявил он с соответствующей обстоятельствам дрожью в голосе, – когда мы оба были лишь херувимами и из наших кудрявых головок еще не выросли тела! Вспомните веселую возню и игры на поцелуи, которыми мы занимались, будучи крошечными ангелочками, так прелестно забавлявшимися среди небесных золотистых облаков без всяких забот, а лишь с воротником из крыльев, так чудно щекочущим уши! Позвольте же воспоминаниям коснуться вас, вплоть до незаслуженного потакания своим слабостям. У меня возникла, странная прихоть в отношении этой неприметной сферы из камня и грязи: мне нравятся женщины, блистая красотой расхаживающие по ней. О, я признаю, что у меня неоспоримо дурной вкус...

– Я не спорю, Суркраг. Я просто указываю, что разврат, как правило, нигде не служит оправданием добрых дел.

– Но то и дело, – сказал Нинзиян, развивая свою мысль, – самые добросовестные из всех скатываются в благодеяния. И, в любом случае, какое имеет значение, что я делаю на Земле? Честное слово, мой князь, по-моему, вы воспринимаете это место чересчур серьезно. Веками я наблюдал за служащими вам, разгуливающими по этой планете в причудливых личинах и любопытных масках, которые непроницаемы для того, кто не знает, что слуги вашего превосходительства ходят по вашим поручениям поступью птиц...

– Да, но... – начал было Люцифер.

– ... Веками, – продолжил Нинзиян, не обращая внимания на его попытки, – я видел, как много времени ваши эмиссары тратят на всякие хитрости, искушая людей совершить грех. И с какой целью? Человек поднимается из грязи, он вышагивает с напыщенным видом по жизни и падает обратно в грязь. Вот и все. Как этот карлик может сотворить добро или зло? Его добродетельность тут же забывается, словно неубедительное пустословие. Самое большое, чего он достигает в своих непотребствах, так это потворства неблагоразумному превышению требований долга посредством уничтожения пары людей, которых время, в любом случае, очень скоро уничтожило бы само. Между тем его симпатии склоняются на толщину волоса – уж я-то знаю – в сторону Небес. Да, но какое это имеет значение? Разве это комплимент Небесам? Ох, князь, будь моя воля, я бы оставил людей гибнуть в их совершенно никчемной, изнуряющей добродетельности, не поднимая всей этой суматохи из-за пустяков.

Нинзиян видел, что произвел на Князя Падших Ангелов ощутимое впечатление. Но спокойный таинственный Люцифер покачал головой.

– Суркраг, абстрактно рассуждая, ты, может быть, прав. Но война ведется не посредством рассудка, и сдача чего-либо Противнику, пусть это не более чем Земля и ее обитатели, может создать опасный прецедент.

– Полно, князь, подумайте, за сколько первоклассных созвездий нужно бороться, а они состоят из светил, являющихся действительно желанными приобретениями! Обратите свой прекрасный ум, сударь, на рассмотрение их достоинств! Рассмотрите Кассиопею, Быка и милый маленький Треугольник! Подумайте об Орионе, содержащем такие звездные шедевры, как Беллатрисса, Бетельгейзе и Ригель, и самую величественную туманность из известных где-либо! Подумайте также о том весьма интересном тройном светиле, называемом Мизар, в Большой Медведице – настоящее сокровище для знатока! И позвольте этой Земле забавлять меня!

Люцифер ответил не сразу. В это время из гнезд вылетели летучие мыши, зигзагами двигаясь по саду. В воздухе повеяло ароматом покрывающихся росой роз. И где-то в полумраке начал свою захватывающую долгую и жалобную песнь желания соловей. Окружающее двух демонов пространство было самым что ни

на есть успокаивающим. И Ангел Тьмы рассмеялся без следа прежнего негодования.

– Нет-нет, старый льстец! В этой великой игре нельзя пренебрегать даже самой несущественной мелочью. Кроме того, я честолобив, признаюсь в этом, и понимание того, что Земля целиком и полностью отдана добру, меня бы не порадовало. Однако, в конце концов, я не могу расценить как непростительное благодеяние продолжение твоей добродетельной жизни здесь со своим сералем, пока какое-то время еще существует эта планета. Такие небольшие отпуска освежают работников для последующих трудов. Так что, если хочешь, я прикажу Амемону, или Баалзебубу, или возможно Суккот-Бенофу немного позабавиться, и они устранят этого ничтожного святого.

Но Нинзиян, казалось, колебался.

– Мой князь, боюсь, что в таком случае здесь появятся некоторые из этих назойливых архангелов. И одно повлечет за собой другое, а моей жене совсем не понравятся какие-либо сверхъестественные сражения в саду среди ее любимых роз. Нет, как я всегда говорю, намного лучше избежать этих мучительных сцен.

– Твоя жена! – сказал Люцифер в крайнем изумлении. – И ты берешь в расчет эту тощую, выцветшую, благочестивую негодницу! Но твоя жена отреклась от тебя! Она поймала тебя на измене и поэтому предала тебя этому жестокосердному святому!

Нинзиян позволил себе улыбнуться в полумраке...

Глава LVI

Расчетливость Нинзияна

Нинзиян позволил себе улыбнуться в полумраке при такого рода холостяцких речах. Люцифер действительно мыслил бы чуть шире, был бы не столь откровенно наивен, если бы не оставался всегда упрямо предубежденным противником брака лишь потому, что это священное таинство. Для того чтобы усовершенствовать истинные знания о человеческой природе, а к тому же и обезопасить повсюду всеобщее благополучие (размышлял Нинзиян), Люциферу требовалось лишь раз жениться на какой-нибудь на все способной женщине...

Поэтому Нинзиян улыбнулся. Но Нинзияну ничего не нужно было говорить, ибо в этот миг из двери вышла Бальфида и – не видя в сумерках Князя Тьмы – крикнула, что на столе стынет ужин и что она действительно хотела, чтобы Нинзиян попытался бы стать чуть более внимательным к людям, особенно когда у них гости.

И Нинзиян, поднявшись, хихикнул. – Моя жена была вот такой же, когда Сидон еще был деревушкой. Время от времени она меня разоблачает. И еще никогда она не выставляла меня на всенародное обозрение. О, если б я это мог объяснить, я бы, вероятно, менее о ней заботился. Отчасти, вероятно, это означает, что она меня любит. Отчасти, боюсь – оглядываясь в прошлое, – это означает, что ни одна действительно совестливая особа не позаботится доверить кому-то наказание своего мужа. Конечно, все это чистая теория. Несомненно же то, что моя жена исповедалась весьма умеренно и что мы с вами присоединяемся к бессмысленным беседам со Святым Гольмендисом.

Но Люцифер еще раз покачал головой.

– Нет, Суркраг, я не брезглив, но мне нет никакой пользы от святых.

– В общем, князь, я бы не стал чересчур поспешно с вами соглашаться. Ибо у Гольмендиса есть неоценимые преимущества. Во-первых, он совершенно искренен, во-вторых, энергичен, а в-третьих, он никогда не прощает никого, отличающегося от него. Конечно, он целиком за то, чтобы люди были лучше, чем они умудряются быть, а своими рассказами о втором пришествии Мануэля он просто пугает людей... Ибо они, мой князь, значительно видоизменили эту легенду. Сегодня Мануэль должен принести с собой не только славу и процветание: похоже, он должен вернуться также с большим грузом наказаний и мук для всех тех, кто каким-то образом не согласен со взглядами Гольмендиса и Ниафер.

– Ах, старая история! В действительности, поразительно, – с искренним удивлением заметил Люцифер, – когда встречаешь повсюду эту легенду о Спасителе в такой форме. Кажется, тут проявляется какой-то инстинкт.

– Но, – терпеливо продолжил Нинзиян, – она дает им нечто предвкушаемое. Она обещает удовлетворить все их врожденные желания, включая жестокость. И, прежде всего, она позволяла им не сойти с ума и верить, что кто-то где-то присматривает за ними. В любом случае, – как я и говорил, – этот изможденный Гольмендис запугивает Пуактесм до состояния всеобщей благочестивости. И все же всегда остаются углы, спальни и другие укромные места, в которых, так сказать, нарушается целомудренное равновесие. Воздержание и страх чудесно возбуждают аппетит. Так что, в конце концов, я сомневаюсь, есть ли у вас где-либо на Земле более услужливые друзья, чем эти святые, которые не смиряются ни с чем, не достигаящим их особого рода совершенства.

Люцифера это не убедило.

– Конечно, ты пытаешься оправдать своих друзей и товарищей последних двадцати лет. Тем не менее, все эти речи в защиту порочности добродетели являются обычными банальностями юности. И ни один безбородый циник, даже пристрастившийся к стихам, еще никогда долго ими не увлекался.

– Но, – ответил Нинзиян, – но здесь я не просто теоретизирую. Я говорю со всей ответственностью. Ибо вы помните, князь, что по правилам нашей игры, когда любой смертный собирает для вас сотню последователей, Яхве штрафует его, ставя в то же положение, что и остальных из нас. И, в общем, сударь,

вы можете увидеть здесь в грязи, как раз там, куда я столкнул Гольмендиса с дорожки...

Люцифер сделал светящимися кончики своих пальцев и поднес их, словно пять свечей, к отпечаткам ног святого. Затем Ангел Тьмы поклонился Небесам с настоящим уважением.

– Наш Противник, надо отдать Ему должное, ведет честную игру. Суркраг, это потрясающе! Это весьма трогательно указывает, что великая игра ведется нашим дорогим другом искренне и мужественно. Между тем я определенно должен поужинать с вами. Великая игра далека от завершения, если я еще оказываюсь четвертым в компании с фанатиком, женщиной и лицемером.

– Ах, князь, – сказал слегка потрясенный Нинзиан, когда они заходили в тихий, уютный дом, – разве вы не должны более тактично сказать: с тремя вождями реформ?

Книга Девятая

Над раем

«...он бил восхищен в рай и слышал неизреченные слова...»

Второе послание к Коринфянам, 12, 4

Глава LVII

Созданные Можи неприятности

Дальше история повествует о мятеже Можи, являвшегося сыном Донандра Эврского, тана Эгремонского. Ибо младшая дочь Мануэля Эттарра, родившаяся после кончины отца, теперь достигла поры полного расцвета своей диковинной красоты. И именно в это время Эттарра была помолвлена с Гирином де Роком из знаменитого дома Гатинэ, что в итоге привело к тому, что двое молодых людей потеряли рассудок, четверо покончили с собой и семеро женились. И также именно в это время юный Можи д'Эгремон прибег к более существенному утешению, чем то, которое можно найти в слабоумии, смерти или замещении одной женщины другой. Он похитил и увез Эттарру, Его отряд из десяти человек преследовали граф Эммерик и Гирон с двадцатью своими сторонниками. И после стычки в Бовьоне девушка, целая и невредимая, была освобождена.

Но Можи при этом бежал. А после он поднял настоящий мятеж против графа Эммерика и захватил те твердыни в Тауненфельсе, которыми когда-то долгое время владел Отмар Чернозубый, сдерживая атаки самого графа Мануэля.

Короче, история, кажется, почтила банальность, повторив самое себя лишь с некоторой разницей: мрачный Можи был в равной мере великим военачальником и великим влюбленным и во всех отношениях более отвратительным, чем Отмар, тогда как Эммерик нигде, кроме банкетов, вообще не вызывал отвращения. Более того, Эммерику в те дни не хватало сильного родственника, на которого можно было опереться, ибо его зять, гетман Михаил, находился в Московии, молодой граф Менторский умер, а Айрар де Монтор перебрался ко двору короля Теодорета. Эммерик, таким образом, имел в качестве полководцев лишь Фопаде Нуантеля и неблагоразумного Гирона, ожидавшего, что их поведет в бой сам Эммерик.

Поэтому Эммерик колебался, он ставил условия, он даже посмотрел сквозь пальцы на взятие Гирона в плен пиратами Каер-Идринэ, лишь бы избавиться от этого беспокойного позера, настаивавшего на затягивании Эммерика в такие весьма неутешительные сражения. А Можи, поскольку эти условия не содержали его обладания Эттаррой, вскоре их разорвал. Таким образом, в Пуактесме теперь началась война между вождеством Можи и вялостью Эммерика, тянувшаяся в течение многих утомительных и лихорадочных лет.

Затем из-за моря вернулась госпожа Мелицента со своим вторым мужем, графом де ла Форэ – господином, в значительной степени на дух не переносящим разбойников и мягкотелость. Этот самый Перион де ла Форэ занялся делами с такой решительностью, что Гирон вскоре был освобожден из плена, Можи подавлен и убит, а Эттарра, которую он желал себе же во вред, вышла замуж за Гирона, и граф Эммерик устроил в честь этого события банкет. Вот какова была порывистость Периона.

Об этих событиях история повествует походя. Ибо история теперь о Донандре Эврском, являвшемся отцом Можи и не нарушавшем присяги на верность Эммерику, который недостойно сидел на месте того великого господина, привилегией служить которому в его смертной жизни обладал Донандр. Ибо Донандр был единственным из властителей Серебряного Жеребца, принявшим с радостью и необузданной верой легенду о Мануэле и всей своей жизнью свидетельствующий о ней.

Донандр Эврский был в братстве самым молодым, ему, только что ставшему вдовцом, в это время было за сорок, и недостаток блистательного ума он искупал безжалостностью в битве. Однако в этой войне он решил не показывать свою удаль, поскольку борьба велась между сыном донна Мануэля и сыном самого Донандра. Вместо этого он выбрал изгнание.

Хотя сперва он отправился в Сторизенд и, стоя перед священным надгробием, какое-то время смотрел снизу вверх на спокойную и величественную статую Мануэля, парящую на вечном посту, охраняя родную страну Донандра, и сверкающую всеми драгоценностями мира. Донандр встал на колени и сотворил молитву в этом священном месте, как он знал, в последний раз. Затем Донандр, не жалуясь и не огорчаясь из-за смерти своей жены, выехал из Пуактесма безземельным человеком. И он благочестиво

стал служить принцу Балеину Таргамонскому (тому самому, что двадцать лет назад добивался руки царицы Морвифи, незадолго до злосчастных дней, когда ее вначале заточили в темницу, а потом отрубили голову), грабившему теперь язычников норманнов.

Таким образом, получилось, что и Донандр наконец покинул Пуактесм – не по собственной воле, – чтобы встретиться лицом к лицу с самой странной из всех судеб, выпавших на долю властителей Серебряного Жеребца после кончины дона Мануэля.

Глава LVIII

Показывающая, что даже ангелы могут ошибаться

Эта судьба начала осуществляться на широком поле под Ратгором, когда вперед выехал Палнатоки и начал хвастаться:

– Я – герой Ансов. В странах Севера нет никого сильнее меня. И если где-то и живет более сильный человек, это еще не доказано. Кто здесь попытается сразиться со мной?

Позади него стояла в ожидании армия язычников – несметная, ужасная и прискорбно грубая. Она тут же заорала:

– Мы вызываем смельчака на смертный бой! Кто сразится с Рыжим Палнатоки, владыкой Лебединой купальни, убийцей великанов в Нёнхире?

Тут из стоящих напротив рядов вышел, бряцая оружием и сверкая доспехами, Донандр Эврский. И он сказал:

– Я, каким бы недостойным вас ни казался, мессир, тот человек, который изволит выйти с вами на бой. Я до сегодняшнего утра тоже сражался. Под знаменем Серебряного Жеребца дона Мануэля я делал все, что мог. То же самое я вновь буду делать здесь сегодня и каждый день вплоть до священного Дня Суда.

После этого христианская армия заорала:

– Самый сильный – Донандр! Но он просто скромничает!

Но Палнатоки презрительно крикнул:

– Твоя величайшая воля этим утром тебе не поможет! Позади меня собрана вся мощь Ансов, недостижимых богов, обитающих над Лерадом, и их сила будет выказана посредством меня.

– Позади начинаний любого верного сына Церкви, – сказал Донандр, – благословенные святые и блистательные архангелы.

– На самом деле, Донандр, это, возможно, действительно так, – ответил Рыжий Палнатоки. – Сегодня встречаются старые боги и боги Рима. И мы – их мечи.

– Твои боги признают свою слабость, мессир Палнатоки, выбрав наилучшее оружие, – учтиво ответил ему Донандр.

Обменявшись любезностями, они стали драться. Нигде на земле не нашлась бы пара более дюжих воинов. Каждому не было равных нигде между гор, кроме его противника. Они, в самом деле, столь соответствовали друг другу, что после получаса невероятной схватки показалось достаточно естественным, что они одновременно убили друг друга. А потом, когда обнаженные души покинули умирающие тела, произошла злосчастная ошибка.

Ибо тут с Севера появился Кьялар, великодушный проводник языческих воинов к вечным наслаждениям в Чертоге Избранных. А из зенита устремился вниз, словно сияющий отвес, Итуриил, чтобы доставить душу храброго героя Христианского мира к блаженствам золотого града со стенами из нефрита Господа Бога Саваофа. Оба эмиссара достигли поля брани до того, как там образовалась их добыча. Оба, как закаленные виртуозы войн, получили удовольствие от этого необычно красивого поединка. И, находясь в возбужденном состоянии, каждый из них каким-то образом совершил ошибку, забрав добычу, предназначенную другому. И вышло так, что душа Донандра Эврского отправилась на Север, сияя на ладони Кьялара, тогда как Итуриил переправил душу Рыжего Палнатоки в Рай Яхве.

Глава LIX

Новообращенный Палнатоки

Оплошность Итуриила, что можно с удовлетворением отметить, не имела в итоге существенного значения. Ибо тогда Христианский мир горячо спорил о разных теологических вопросах, не очень понимаемых в Раю Яхве, где, как следствие, не осмеливались принимать решений по поводу заслуг противоборствующих сторон. И ежедневные поступления христианских героев и мучеников всех сект допускались к блаженству с такой же скоростью, с какой они убивали друг друга.

Более того, Рыжий Палнатоки был, в соответствии с догматами своей суровой Нордической веры, фаталистом. Когда он обнаружил, что произошло, и узрел странное спасение, уготованное ему, религиозное сознание уверило его, что это тоже предопределено своенравными Норнами, и он благочестиво не стал жаловаться. Вечная жизнь, которую он унаследовал – без поединков и с напитками не крепче молока, – не отвечала ожиданиям кого угодно, но могучий морской разбойник давным-давно обнаружил, что отвечает им весьма немного. Между тем он, в любом случае, мог предвкушать ту обещанную последнюю великую битву, когда достойные военачальники Гог и Магог (как понял Палнатоки, с большим отрядом прекрасных воинов) нападут на четырехугольный город, и тогда у Палнатоки опять появится шанс испытать истинное удовольствие при защите стана святых.

А между тем его также заинтересовали местные девушки. В лучшем случае, кому угодно с его религиозным воспитанием казалось совершенно необъяснимым нахождение в раю женщин, а эта особая пара показалась Палнатоки чрезвычайно чудным выбором для исключительного фаворитизма. Он мог лишь предполагать, что в небесные расчеты вкралась некая ошибка, сходная с той, что обеспечила его допуск сюда, особенно когда он не видел нигде вокруг других женщин.

И Палнатоки размышлял, что беременная дама с орлиными крыльями и короной из маленьких звездочек, за которой с трогательной преданностью повсюду следовал вроде как ручной дракон, не могла еще в течение нескольких месяцев вознаградить затраченные на нее усилия. Но другая очень миловидная брюнетка с золотой чашей в руке, в великолепных одеждах с ярлыком на лбу, только что привезенная семиглавым багряным чудовищем, поразила воображение Палнатоки. Походило на то, что эта девушка не была жеманницей. Она прошла невдалеке от него, подмигнув ему, как подмигнула и в тот момент, когда обернулась. Так что эта Великая Вавилонская Блудница (это, как ему рассказали, было именем второй дамы) позволила ему предвкушать еще кое-что.

Без тени раздражения Палнатоки решительно отправился на свой первый урок в класс арфы. И вместо возражений вежливо распевал аллилуйю.

Ибо, предвкушая два прекрасных грядущих дня, Палнатоки был вполне доволен. И поэтому в Раю Яхве все шло надлежащим образом и так же плавно, как Рыжий Палнатоки в данный момент покидает эту историю.

Глава LX

В Чертоге Избранных

Когда Донандр Эврский проснулся в Северном раю, он тоже оказался вполне доволен. Место, правда, было весьма странное, далеко не самое уютное – чертог с золотой крышей и пятьюстами сорока дверями в версту шириной. А чудовища в облике оленя и козы, расхаживавшие по зданию и постоянно объедавшие нижние листья великого древа, называвшегося Лерад, показались Донандру превосходящими по величине любых заморских тварей – животные, под копытами которых только весьма неблагоразумные люди воздвигли бы свою резиденцию. Однако, как и Палнатоки, Донандр Эврский являлся бывалым воякой, который мог сносно обосноваться где угодно. Да он и не открыл для себя среди язычников ничего нового, поскольку в смертной жизни Донандр странствовал по всему свету, а более половины его достойных врагов и соперников во множестве восхитительных поединков были неверными.

– Не считая их злосчастных религиозных ересей, – обычно признавался он, – у меня нет никаких претензий к языческим особам, которых я и в дневных и в ночных столкновениях находил точно такими же дружелюбными и общительными, как и должным образом крещенные дамы.

Короче, он довольно неплохо уживался с соломенноволосыми призраками этих северных королей, скальдов, ярлов и викингов. Они выпучили глаза, а некоторые даже захохотали, когда Донандр устроил небольшую раку, в которой благопристойно молился каждый день в надлежащие часы о втором пришествии Мануэля и благоденствии души Донандра в священный День Суда. Однако, в конце концов, эти северные призраки признали, что в их раю, как нигде в другом месте, человеку нужно позволять во всем следовать собственным вкусам – даже в богатой поэтическими образами эсхатологии. А когда они несли свой действительно жалкий вздор о том, что они гости Свидрира, Ткача и Ключаря, и о вечной счастливой жизни в Чертоге Избранных благодаря его щедрости, приходила очередь Донандра пожимать плечами. Даже не будь других разногласий, ведь все знали, что у настоящего Рая не пятьсот сорок золотых ворот, а лишь двенадцать входов, каждый из которых вырезан из одной жемчужины, и на нем выгравировано имя колена Израилева.

– Кроме того, кто этот Ткач и Ключарь? – спросил Донандр. – Определенно, я о нем никогда прежде не слышал.

– Он – Король и Отец Ансов, – сказали ему. – Он повелитель того невообразимого народа, что обитает в Идалире; он не убивает своих уродливых и слабых детей, как обычно делаем мы, а вместо этого выкидывает за выточенные из слоновой кости стены Идалира всех подобных выроdkов, чтобы они стали богами людей не светловолосых и не нордических.

Донандр, будучи верным сыном Церкви, смог лишь покачать головой над подобным вздором и другими бесчисленными ошибками, посредством которых эти язычники были обречены на вечную погибель. Вслух же Донандр повторил свой окончательный вердикт относительно притязаний этого Свидрира:

– Я о нем никогда прежде не слышал.

Тем не менее Донандр без какого-либо неудовольствия пребывал среди наслаждений Северного рая и принимал участие во всех местных забавах. Сообща с остальными мертвецами он ел неиссякающее мясо вепря, и с ними же он пил крепкий мед, державший их постоянно во хмелю. И он спокойно выезжал вместе с остальными каждое утро на луга, где эти блаженные владыки варваров весело сражались друг с другом до полудня. В полдень звучали раскаты грома, убитые и раненые воины внезапно оживали, их раны затягивались, руки, головы и ноги соперников, потерянные в игре, присоединялись к туловищам, и вся компания по-братски возвращалась в чертог с золотой крышей, где они ели, пили и хвастались, пока не засыпали.

– Однако не выиграют ли наши банкеты, господа, – предложил Донандр примерно после столетия таких суматошных удовольствий, – будучи благоприятно приправленными некоторыми наслаждениями, вызываемыми женским обществом, хотя бы на десерт?

– Но ведь одно из предписанных нам блаженств – покончить с женщинами и их глупостями! – воскликнули викинги. – Теперь, когда мы попали в рай.

И Донандр, который всегда отличался страстностью натуры и который энергично служил такому множеству дам, похоже, огорчился, услышав столь нерыцарственное высказывание. Впрочем, он ничего не сказал.

Так прошло немало времени. И миры изменились. Но во взоре Донандра Эврского, как и во взорах всех пирующих в Чертоге Избранных, не было ни осмысленности, ни боязни времени, поскольку эти блаженные мертвецы находились теперь постоянно во хмелю. И, как подобает верному сыну Церкви, Донандр в окружении, которое Небеса, исходя из небесной мудрости, выбрали для него, без жалоб ждал второго пришествия Мануэля и священного Дня Суда.

Глава LXI

Прелестная владычица Регинлейва Ванадис

Затем с самой высокой части Северного рая, из невообразимых тисовых долин Идалира, поднимавшихся над самыми верхними ветвями древа, называвшегося Лерад, сошла в голубом одеянии Ванадис – дорогая сердцам Ансов владычица Регинлейва. Она в пылкой мифологической манере уже избавилась от пятерых незадачливых мужей, но все же ее обуяли одиночество и желания. И с вечным оптимизмом вдов она отправилась искать шестого супруга среди этих мускулистых героев, насмехающихся над женами и их уловками.

Но Донандр Эврский был человеком, который по двум причинам мгновенно нашел благосклонность в ее взоре, когда она наткнулась на Донандра, отдыхающего после утомительных, но приятных утренних единоборств и принимающего ежедневную ванну в сверкающих водах реки Гипуль. Именно так называли мертвые поток, струящийся с рогов чудовищного оленя, который вечно стоял, пощипывая и жуя листья, на крыше Чертога Избранных.

«Вот чрезвычайно подходящий мужчина!» – подумала Ванадис. Вслух же она сказала:

– Привет тебе, мой друг! Неужели такой статный и красивый малый с твоим ростом и сложением избегает работы или все же он ищет работу?

Дюжий Донандр вылез из чистого потока Гипуль. Он направился, с улыбкой и необыкновенным восхищением, к первой женщине, которую увидел за семьсот лет. А женская природа настолько постоянна, что божественная Ванадис посмотрела на Донандра с таким же задумчивым удивлением, с каким более семисот лет назад язычица Уцума взглянула на базаре в Поруче на Котта.

Донандр спросил:

– Что вы имеете в виду, сударыня?

Ванадис ответила:

– У меня есть желание, которое, как сообщило мне прекрасное знамение, совпадает с твоим желанием.

Затем Ванадис с божественной откровенностью высказала это желание. И так как натура у Донандра была страстная, он достаточно легко согласился с предложениями этой довольно пылкой и чрезвычайно миловидной молодой женщины, которая так необычно разъезжала в повозке, запряженной двумя котами, и которая по-язычески и образно представила сама себя как богиню. Он лишь оговорил, как только оделся, что они должны добропорядочно сочетаться согласно законам о браке ее страны и епархии.

Ансы в таких вопросах обыкновенно не церемонились. Тем не менее они посовещались – Адуна, Орд, Хлейфнер, Рённ, Гейрмифаль и другие лучезарные сыновья Свидрира. И именно они выдумали незатейливую церемонию со свечами, обещаниями, музыкой, золотым кольцом и всеми остальными атрибутами, которые, по-видимому, ожидалось странным супругом, приведенным из Чертога Избранных их любимой Ванадис. Но ее сестры не участвовали в церемонии по причине того, что считали такие публичные прелиминарии неслыханными и бесстыдными.

Таким образом Донандр оказался допущен к благам Идалира – страны, находящейся выше Лерада и всех остальных небес и раев. И через семьсот лет безбрачия Донандр достаточно мило зажил вместе с молодой женой в великолепном дворце. Ванадис же обнаружила, что она, в некотором смысле, тоже жила со своими пятью прежними мужьями в безбрачии.

Глава LXII

Демиургия Донандра Вератюра

Одним-единственным изменением, которого потребовал Донандр, стало устройство в этом самом Регинлейвском дворце часовенки. Там он бывал ежедневно в надлежащие часы, насколько их можно было вычислять в бесконечном дне, и там он молился о втором пришествии Мануэля и о благоденствии души Донандра в священный День Суда.

– Но, на самом-то деле, сердце мое, – увещевала его Ванадис, – ты же мертв уже так долго! А если посмотреть здраво, эти твои образы кажутся такой потерей вечности!

– Прекрати, моя дорогая, нести свой языческий вздор! – отвечал Донандр. – Неужто я не знаю, что на небесах нет браков? Как бы тогда небеса стали таким местом, где двое живут дружно и счастливо?

Между тем языческим жрецам повсюду, где поклонялись Ансам, было откровение о шестом и всецело успешном браке Ванадис. Ее супруга должным образом обожествили, и были построены новые храмы в честь блистательной владычицы Регинлейва и Богочеловека Донандра Вератюра, ее энергичного избавителя от тщетного желания и телесного горя. А над мирами втихомолку, как река, текло время, изменяя их и стирая. Но для Донандра все было так, словно он по-прежнему жил в тот трижды счастливый день, когда женился на своей Ванадис. Ибо поскольку все, что желают Ансы, должно происходить немедленно, Идалир знает лишь один бесконечный день. И неизмеримо ниже его сияния – во многом так же, как медленная, набухшая от дождей река течет под мостом, на котором в лучах апрельского солнца встретились юные влюбленные, – происходило совершенно не замечаемое никем в Идалире протекание времени и разрушение им всего сущего.

И к тому же после огромного множества эонов, которым пренебрегает Идалир и которое люди не могут себе вообразить, получилось так, что Донандр увидел одного из своих младших свояков за чуждым занятием. Донандр задал ему кое-какие вопросы. И узнал, что этот смуглый, бойкий маленький Кощей играет в игру, в которую обычно играют юные Ансы.

– А как в нее играют? – спросил затем Донандр.

– Так-то и так-то, сердце мое, – ответила жена. Любящая Ванадис была рада найти для своего мужа хоть какое-нибудь занятие на свежем воздухе, которое отвлекло бы его от этой непрветриваемой часовни с ее мрачными картинами пыток и душливым запахом ладана.

Затем Донандр сорвал ветку с дерева под названием Лерад, произнося при этом соответствующее слово власти. Сидя у пятой реки Идалира, он срезал ножом с зеленой рукояткой, данным ему Ванадис, полоски коры с этой ветки и разбросал их вокруг. Он воистину обнаружил, что те кусочки коры, которые коснулись воды, стали рыбами, те, которые он кинул в воздух, стали птицами, а те, которые упали на землю, превратились в животных и людей.

У него, в самом деле, почти мгновенно оказалось достаточно созданий, чтобы населить некий мир, но, конечно же, не такой мир, где можно жить и размножаться. Поэтому Донандр уничтожил эти создания и поместил одну из вирд на жука Кару. Это громадное добродушное насекомое тут же стало лепить из грязи шар и наносить на него горы, равнины и долины. Затем Кару прорыл в центр этого грязевого шара некий ход. И из этой дыры, в которую вполз Кару, вышли все виды живых существ, необходимых для многообразия мира. И они начали размножаться, и убивать друг друга, и строить удобные для них норы, гнезда, логова и целые города.

Это настолько взволновало еще одного жука по имени Хепри, что он вообще проявил себя в манере, которую здесь просто неудобно описывать. Но благодаря его замечательному поведению зародилось великое множество живых существ, растений, ползучих тварей, да и люди тоже появились – из слез, пролитых Хепри.

Такова была вторая демиургия Донандра Вератюра. Затем с помощью золотого яйца Донандр создал еще один мир. А еще один он вытянул из внутренностей паука. Из мяса падшей коровы он создал пятый

мир. А при содействии ворона Донандр создал еще один мир. Так он и продолжал, по очереди испытывая каждый метод, которым когда-либо пользовались Ансы.

Эти забавы развлекали Донандра достаточно долгое время и даже еще немного. А Ванадис, не говоря уж о ее естественном удовольствии от увеличения сил, которых Донандр набирался при длительных занятиях на свежем воздухе, блистательная Ванадис улыбалась, глядя на его игры, как любящая жена, обнаруживающая, что ее муж всецело занят менее предосудительными делами, чем можно ожидать от этого существа. А сыновья Свидрира улыбались пока еще не исподлобья, когда проходили мимо Донандра, занимавшегося своими игрушками. Даже сестры Ванадис лишь сказали: «Действительно – подумать только, и, конечно же, мы только этого с самого начала и ждали». Таким образом, все оставались довольны достаточно долгое время и даже еще немного.

А в течение этого времени Донандр работал над своими мирами, освещая их молниями и извержениями вулканов, усердно избавляя их от перенаселения той или иной эпидемией, очищая ураганами и постоянно отмывая ливнями и потопами. Он с любовью относился к своим игрушкам и содержал их в отличном состоянии. Между тем его умение возрастало по мере вникания в суть демиургии, а о чем-либо еще Донандр думал мало. Теперь ему не нужна была помощь воронов и жуков. Он обнаружил, что ему стоило лишь возжелать появления нового мира, и тотчас же его желание воплощалось в реальность: свет отделялся от тьмы, воды собирались в одном месте, появлялась суша и начинала кишеть живыми тварями – все это в один миг, полный удовлетворения и восхищения собой. Ранее созданные звезды, кометы, светила и астероиды Донандр Вератюр начал уничтожать, отчасти в раздражении, отчасти в настоящем изумлении при виде архаичных, топорных методов, из которых он уже вырос. На их местах он создавал новые вращающиеся, блистающие и пульсирующие планетные системы, которые, во всяком случае, некоторое время казались ему чрезвычайно искусными изделиями. И повсюду в мирах, созданных им и пока еще не уничтоженных, люди поклонялись Донандру Вератюру. И в своем милом доме в Регинлейве, высоко-высоко над Лерадом и любым другим небом и раем, Донандр поклонялся богу отцов и всех добропорядочных ближних Донандра Эврского, и в таком языческом окружении, которое Небеса благодаря небесной мудрости выбрали для него, ожидал второго пришествия Мануэля и священного Дня Суда.

Глава LXIII

Расчетливость Свидрира

Затем внезапно вместе со своими волками, резвящимися вокруг него, появился светящийся Свидрир Вавуд, Ткач и Ключарь. Он появился в своей широкополой шляпе, решительно надвинутой на глаза. Он подошел к своей дочери Ванадис и заявил, что, покуда терпение является добродетелью, существует такая штука как переусердствование, неважно, насколько мало его самого могут волновать разговоры о праздных хлопотунах, потому что, сколько бы она ни спорила, а это она всегда делала с детства, уподобившись в этом и во многих других неблагочестивых качествах своей матери, даже при всем том ни один благоразумный Анс не смог бы отрицать, что поведение ее мужа смехотворно. И это (сказал Свидрир Вавуд) не подлежит сомнению.

– Не шуми так, сердце мое, – ответила Ванадис, – по поводу природных обстоятельств. Все мужья смехотворны. Кто может быть более уверен в этом, чем я, имевшая шесть мужей, если только не ты, который в облике козла, синицы и березы являлся мужем шестисот женщин?

– Все это замечательно, – сказал Свидрир, – в дополнение к тому, что мы обсуждали совсем не это. Твой Донандр сейчас является одним из Ансов. Он – Анс в зрелом возрасте, и ему не к лицу создавать миры. Вот что мы обсуждаем.

Однако какие божественные руки, – спросила Ванадис, – не замараны демиургией?

– Мы обсуждаем и не это. Когда вы, мои отпрыски, были детьми, у вас были игрушки, и вы играли ими, и вы их ломали. Никто этого не отрицает, поскольку вы все, от Рённа до Адуны и даже самый младший Кощей, перебесились подобной ерундой. Взгляни-ка на самого красивого и здравомыслящего малого, несмотря на все его шалости, и спроси Кощея, что он думает о твоём муже! А ты вместо этого предпочитаешь уклоняться от обсуждаемой темы, поскольку знаешь, как и я, что для детей подобные игры вполне естественны и, кроме того, постоянно оберегают молодежь от серьезных несчастий. Хотя, разумеется, прямо скажу тебе, моя Ванадис, оберегают не очень долго и не всегда, ибо взгляни к тому же, в качестве наиболее горестного примера, на то, как скоропалительно и неизящно ты уничтожала своих мужей!

– Донандра Вератюра я никогда не уничтожу, – с улыбкой ответила Ванадис, – из-за любящего человеческого сердца и сводящих с ума человеческих поступков, которые он вынес из своего Пуактесма, и еще по двум причинам.

– Тогда я положу конец, если уж не ему, то, по крайней мере, этой его ерунде. Ибо твой Донандр по-прежнему играет со звездами и планетами, запускает кометы и взрывает светила, а заниматься этим ему не подобает.

– Ну-ну, ты – Отец и Хозяин Всего Сущего, поступай с ним по собственной воле, пока можешь, – ответила Ванадис, по-прежнему улыбаясь каким-то своим воспоминаниям. Она уже слишком долго жила со своим шестым мужем, у которого было человеческое сердце и человеческие поступки.

Глава LXIV

Овальное окно

Затем Свидрир отправился к Донандру. Но тут Ключарь обнаружил, что нельзя немедленно принудить Донандра Вератюра к некоему осознанию своей греховности, так как Донандр Эврский давным-давно умер и стал Ансом. Люди, как заявил Донандр, такими вещами не занимаются; когда люди умирают, они отправляются либо в Рай, либо в Ад. И дальнейшие препирания с Донандром, похоже, ни к чему определенному привести не могли. Ибо Донандр, будучи верным сыном Церкви, с сожалением пожимал плечами, слыша от своего тестя этот языческий вздор. Он гладил по голове волков Свидрира, он слушал Ткача и Ключаря со снисходительностью, приберегаемой для слабоумных. И он сказал, немного смакуя слова, что мессир Свидрир станет мудрее в священный День Суда.

Затем Свидрир Вавуд стал Свидриром Иггом, Размышляющим и Ужасным. Затем Свидрир принялся за такую магию, которую ему не приходилось использовать с первого появления на вечных тисовых долинах Идалира. Одним словом, Свидрир открыл в Регинлейве овальное окно, выходящее в пространство и время, на замерзшую золу, которая когда-то была мирами; солнцами и звездами, которые создавшие их творцы уничтожили, когда один за другим Ансы расставались с детством и игрушками.

Среди этих обломков претенциозно вращались еще живые миры, созданные Донандром. Эти игрушки, видимые вплотную благодаря магии овального окна, оцетинились шпильями храмов и соборов, в которых пока еще живущие в этих мирах имели обыкновение молиться. Во всех этих церквях люди зывали к Донандру Вератюру. Через это заколдованное окно впервые его ушей достигли крики его священников и мирян: нигде не было и разговоров о другом боге; даже там, где из множества миров исходили разъяснения страшных представлений предков о Богочеловеке Донандре, Избавителе от Тщетного Желания, Хранителе от Телесной Печали, доказывавшие, что никого подобного не могло существовать. А Донандру, выглядывавшему из окна в Регинлейве, все это казалось копошением муравьев или ползанием очень маленьких личинок по мирам, которые он создал для собственного развлечения. И на лице, так же как и в сердце Донандра, пробудилось беспокойство.

– Если это правдивая картина, – вскоре сказал Донандр, – покажите-ка ту Землю, что является моим домом.

После небольших поисков Свидрир нашел ему плывущий шлаковый шар, что когда-то был Землей. На его искрящейся обнаженной поверхности не осталось ни одного живого растения и ни одного дышащего существа. День Суда давно миновал, и земные дела были свернуты. Ни на одной планете никто не помнил бога, которому поклонялся Донандр, – теперь, когда Яхве закончил игру и его игрушки оказались сломаны или выброшены. Но на многих планетах существовали храмы Донандра Вератюра и поднимающийся дым от жертвоприношений ему и слышались крики почитавших его, когда они убивали друг друга в спорах по вопросам теологии, которых Донандр не мог понять.

Да он и не думал об этом. Вместо этого Донандр Вератюр, который последним из Ансов занимался этой невыгодной забавой – демиургией, вспомнил дни и лунные ночи своей молодости и славных тривиальных людей, которых он тогда любил и уважал. Он не думал о двух женах, которые были у него на Земле, да и о своем сыне Можи или о проявлениях донандровой мужественности. Он подумал, вообще без всякой причины, об убогом маленьком сельском священнике, конфирмировавшем его, и об отце с матерью, которые были мудры и способны защитить его от любого несчастья, и о высокой девушке, чьи губы когда-то, прежде всех остальных губ, оказались слаще радостей Идалира. И он думал о множестве других бесполезных вещей, которые, как сейчас оказалось засвидетельствовано, всегда были бесполезны, но которые давным-давно казались очень важными юноше, что, служа знаменитому Мануэлю Пуактесмскому, так храбро вставал в позу в крошечной провинции вымершей планеты.

И, заломав бессмертные руки, Донандр сказал:

– Если это правдивая картина, кем же стал я, который больше не может ничто ни любить, ни уважать! Который не может волноваться из-за какого угодно Дня Суда! И которому космос открывает лишь жизнь

этих неразличимых, грязных и сумасшедших насекомых!

До него донесся крик молящихся ему:

– Ты есть Бог, Творец и Хранитель всех нас, Твоих детей! Ты есть Донандр Вератюр, в Коем наше твердое упование! Ты есть Богочеловек, Который дарует нам справедливость и спасение в священный День Суда!

– Так эти маленькие существа, – спросил Донандр, – говорят о Мануэле?

– Мы не знаем никакого Мануэля! – ответила ему Вселенная. – Мы знаем лишь, что Ты есть Бог, наш Творец и Хранитель.

Затем, вновь понаблюдав за паразитами, кишачими в его мирах, Донандр спросил слегка испуганно:

– Разве Бог такой?

Ему ответили с любовью и уважением:

– Как Бог может быть не таким, как Ты?

При этом Донандр вздрогнул. Но в тот же миг он сказал:

– Если это правдивая картина и если я, в самом деле, бог и хозяин всего сущего, человеческое сердце, сохранившееся во мне, желает теперь сотворить тот завтрашний день, которого эти несчастные, да и я тоже, так долго ждали.

Тут Свидрир указал настолько спокойно, насколько мог позволить его разгневанный здравый смысл:

– Все же... все же ты говоришь ерунду! Как Анс может сотворить будущее?

Донандр в свою очередь спросил:

– А почему бы и нет, если вы всемогущи?

– Именно потому, что мы всемогущи. Поэтому в Идалире существует лишь один день, из которого даже в воображении ни один Анс не может убежать. Ибо, что бы ни пожелали Ансы, даже будь то завтра, все должно мгновенно произойти и существовать. И это должно произойти сегодня. По-моему, это достаточно ясно.

– Нет, не ясно, – ответил Донандр, – хотя я и допускаю, что излагаемое вами звучит логично. Поэтому, если таково, в самом деле, всемогущество, и если здесь никто не может убежать из сегодняшнего дня, и если я – пленный и ограниченный в правах бессмертный и хозяин лишь того, что есть сегодня, тогда пусть сейчас же все это кончится! Ибо сердце у меня остается человеческим. Сегодняшний день не знает рун довольства моего сердца. Мое сердце не будет удовлетворено, если оно не войдет в то завтра справедливости и спасения, которого повелители людей, как вы мне сказали, не могут ни желать, ни планировать. Так что, если это действительно правдивая картина, пусть все кончится!

В мгновение ока Донандр увидел, что, пока еще он говорил, космос оказался очищен от жизни. Там теперь нигде не было никаких людей. Никто больше не ждал грядущего дня, который должен предельно удовлетворить их гарантированным, блестящим наследием, предугаданным в мечтах, которые бесконечно таились и насмехались над всей человеческой жизнью и обрекали сердце каждого на бытие, чуждое удовлетворению на этой стороне завтрашнего дня. Эта нестареющая мечта о завтрашнем дне и о грядущем спасении – завтра – улетучилась, как улетучивается дымок благовоний. А с ней также ушли из жизни те, кого она питала и поддерживала. Нигде больше не было людей. Донандр видел лишь золу, плывущую в унылом одиночестве. А Донандр Эврский должен был жить вечно в качестве Донандра Вератюра, одинокого и непонятого бессмертного, среди множества равных себе.

– Так будь же благоразумен, зятек, – сказал Свидрир Вавуд, произнося слово власти, навсегда закрывшее это безрадостное окно, из которого больше никто никогда не выглянет, – будь благоразумен, если, на самом деле, в тебе еще есть капля здравого смысла. И живи впредь более подобающе, чтя репутацию жениной семьи. И выкинь из головы эту золу, этот пепел и этот шлак, что являлись надлежащей забавой твоей юности. Таков конец сказания любого мудреца.

Глава LXV

Награда за веру

После этого Король и Отец Ансов ушел, вполне довольный уроком, преподанным этому мальчишке. А Донандр тоже улыбнулся и с удовлетворением обозрел радующие глаз долины вечного Идалира.

«Все же ни за что на свете, — размышлял Донандр, — я бы не поменялся местами с этим старым кудесником. И просто стыдно, что у меня такой тесть».

Ибо, будучи верным сыном Церкви, Донандр не сомневался, что чудеса, которые ему только что продемонстрировал Свидрир, были лишь иллюзией, выдуманной с помощью какого-то злого духа, чтобы искусить Донандра и отвратить его от добропорядочности и истинной веры. Именно поэтому Донандр Вератюр, который являлся Творцом и Разрушителем всего, кроме человеческого сердца, выжившего в нем, отправился в Регинлейвскую часовню. Там он благопристойно сотворил привычные молитвы, а молился он о втором пришествии Мануэля и о благоденствии души Донандра в священный День Суда.

Книга Десятая

У могилы Мануэля

«Что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь
высекаешь себе гробницу?»

Исаия, 22, 16

– Salut, ami, dit Jurgen, si vous etes une creature de Dieu.

– Votre protase est du bien mauvais grec, observa le Centaure, car
en Hellade, nous abstenions de semblables reserves. D'ailleurs mon
origine vous interesse certes moins que ma destination.

«La Haidte Histoire de Jurgen»

Глава LXVI

Преклонный возраст Ниафер

Теперь рассказ об искалеченной старой госпоже Ниафер, преобразившей тот Пуактесм, который спасал ее муж, и о думах, одолевавших ее в последние дни жизни. До последнего времени Ниафер, при вечном засилье срочных дел, редко приходилось о чем-либо размышлять. Но на старости лет госпоже Ниафер больше ничего не оставалось делать. Радегонда за этим проследила.

Сероглазая распутница правила всем и вся. Взирать на это ее свекрови было не очень-то приятно, особенно после того, как сама Ниафер правила Пуактесмом почти двадцать лет и за это время выкорчевала с корнем фриivolность и беспорядок. В первую очередь, ни одна мать не могла искренне радоваться, видя, как ее собственному сыну завязывает глаза и навязывает беспутный ночной образ жизни жена, от которой в ее тысячу триста с чем-то лет можно было ожидать большей рассудительности. Во-вторых, Ниафер могла управляться с делами, да несомненно, и с бедным Эммериком, с неизмеримо большей выгодой для всех, да и для здравого смысла.

Все эти войны с Можи, к примеру, являлись печальной ошибкой. При ее регентстве (размышляла с удовлетворением престарелая Ниафер) тут и там раздавалось ворчание – ведь люди, будучи такими, какие они есть, не имеют ни малейшего представления о собственном благе, – но никогда не происходило вооруженного мятежа. Когда люди неудовлетворены, посылаешь за ними, они приходят, рассудительно с ними беседуешь, и отыскиваешь, что в действительности не так, и все исправляешь в той мере, в какой исправление кажется наиболее благоразумным. Дополняешь это лаконичной безвредной лестью, и дело с концом. Ни один воин, находясь в здравом уме, не пошел бы воевать с умной, старой дамой, которая считает его таким исключительно прекрасным малым.

В общем, если б в самом начале этого бедного Можи – который был очень милым ребенком, пока не исхудал от постоянных заговоров и убийств, да и родители его многие годы были хорошими знакомыми – пригласить на обед вместе со всей семьей, то потом всех этих убийств, поджогов и побудок ни свет ни заря из-за ночных нападений заблудшего юноши на Бельгард можно было бы избежать.

Но Ниафер участвовать в обсуждении этого, конечно же, не позволялось. Ей не позволялось участвовать ни в каких обсуждениях той женщиной, которая прибавила ко всем своим злодеяниям вечные невыносимые заботы об удобствах матушки Ниафер. И при такой вынужденной праздности графине было весьма одиноко – особенно теперь, когда умер Гольмендис. Почти семь лет назад этот надежный и верный друг отправился в крестовый поход вместе со Святым Людовиком. И эта пара прошествовала от развалин Карфагена к вечной славе при значительном содействии дизентерии. Ниафер очень тосковала по Гольмендису после трех десятилетий тесной дружбы и близких отношений, о которых люди говорили непристойные вещи, о чем старой графине было достаточно известно и что ее совершенно не волновало.

Конечно, у нее оставались ее дети. Было особенно приятно, что вернулась Мелицента после всех этих лет полной неизвестности, тактично ли обращается ребенок со своим похитителем в этой далекой Накумере. Но у детей теперь свои дети и свои дела. И никто не был склонен позволять Ниафер заниматься ни теми, ни другими в Пуактесме, где в течение восемнадцати лет она занималась всем и вся. В остальном госпожа Ниафер знала, что пророчество, высказанное давным-давно Головой Беды, теперь исполнилось: у нее не было места в миропорядке, она являлась лишь едва переносимой незваной гостьей в жизни ее детей, и все повсюду как можно быстрее забывали о ее посещениях.

Ниафер не винила детей. Наоборот, она признавала с практичностью, непостижимой для мужчин, что их поведение весьма благоразумно.

– Если б они разрешили, я бы вечно во все вмешивалась. Зачастую я всем надоедаю. А та часть пророчества о плаче украдкой – совершенный вздор, поскольку плакать не из-за чего, и даже нечему и удивляться, – радостно заявляла госпожа Ниафер.

И к тому же, если порой после того или иного противодействия ее по-прежнему упрямой воле свергнутая старая правительница Пуактесма тихо ковыляла к себе в покои и оставалась там достаточно

долго запершись, а потом выходила оттуда с красными глазами, никто особо этого не замечал. И если она в свои лучшие годы вела светскую жизнь в обществе самых изысканных из монархов, то теперь казалось, что в целом она предпочитает одиночество. Она постоянно, совершенно не рисуясь, прихрамывая уходила подальше от любых семейных сборищ. Матушка становилась слегка странноватой: все по этому поводу с пониманием пожимали плечами и мирились с этим. Бабушка еще минуту назад смеялась и разговаривала вместе со всеми, а в следующее мгновение неожиданно куда-то уходила. И ее случайно находили одну в каком-нибудь тихом углу, сгорбленную и ничем не занимающуюся, а просто о чем-то думающую...

Госпожа Ниафер думала обычно о своем муже. Ее доля оказалась самой славной из судеб всех женщин, поскольку она являлась супругой Мануэля. Те чудесные пять лет, что она разделила со Спасителем Мануэлем, составляли не самый продолжительный период в ее жизни, но она полагала, что только эта часть по-настоящему и шла в счет. Лишь из-за ее человеческой слабости она намного чаще вспоминала Гольмендиса, являвшегося простым святым, чем своего Мануэля. Теперь она находила, что довольно тяжело – и к тому же неблагоприятно – вспоминать определенные подробности о ее сверхъестественном муже: ввиду удобной отдаленности это был лишь высокий седой бог в огромном золотом сиянии. Все это было чудесно, вдохновляюще, но к тому же и очень печально. Но эти беспричинные слезы даже доставляли ей радость.

Так думать о своем Мануэле было лучше всего. Вдаваться в частности, останавливаться на подробностях неблагоприятно. Такой, вероятно, богохульственный склад мыслей намекал, к примеру, на то, что после второго пришествия Спасителя дела хотя бы поначалу пойдут чуточку нескладно.

Не то чтобы Мануэль стал ей совершенно чужим, да даже и Всеведущий, конечно же, не знал всего о Гольмендисе. По отношению к свободному от предрассудков покровителю Церкви задача Всеведущего – быть немного близоруким. В этом отношении земное прошлое дона Мануэля не так далеко ушло из памяти жены, чтобы он мог стать единственным человеком, говорящим о моральной неустойчивости. Нет, отрицательная сторона, скорее, заключалась в том, что после возвращения ее мужа в неумолимой славе ей придется снова привыкать ко множеству забытых вещей... Ниафер надеялась, во всяком случае, что при втором пришествии он не возьмет с собой раздражающую ее привычку простужаться по малейшему поводу. Ибо, вероятно, нельзя быть благопристойным человеком и одновременно обвинять духовного Спасителя в том, что он никогда не проветривает комнату и запирает все окна и двери, боясь сквозняков, да и нельзя смотреть на него снизу вверх с должным благоговением, если он все время чихает и кашляет... А если он ожидает, что при переупорядочении человеческих дел эти его Алианора и Фрайдис устроятся где-то поблизости от его законной жены...

Против этой безумной случайности, однако, нельзя принять никаких мер, и тут Ниафер сменила несомненно богохульственное направление своих размышлений. Ее Мануэль во всем был совершенен. Он вновь вернется в невообразимой славе, и он вознесет ее – свою избранницу, свою единственную невесту, настолько недостойную его, – к совместному вечному блаженству, которое – после того, как к нему привыкнешь и устроишься с вновь выросшими волосами, полным набором зубов и всеми остальными преимуществами юности – будет весьма приятным. Подробности подождут. Подробности, когда на них останавливаешься, раздражают. Подробности, хоть как-то относящиеся к этим шлюхам, без сомнения подсказаны непосредственно силами зла.

И после таких рассуждений Ниафер обычно шла помолиться у надгробия, которое она построила в честь Мануэля.

Глава LXVII

Совершенно разные женщины

Дальше история рассказывает, что однажды весной старая Ниафер сидела вот так у могилы своего мужа и, случайно подняв голову, обнаружила еще одну пожилую женщину, стоявшую рядом с ней.

– Приветствую вас, Английская королева! – сказала Ниафер с большей, чем следовало, вежливостью.

– Вот как! – сказала другая женщина. – Вы, стало быть, его жена. Да. Я помню вас по той встрече близ Висанта. Но как вы меня узнали?

– Разве у вас на глазах нет слез? В живых не осталось никого (после того, как двуличная Фрайдис справедливо получила по заслугам), – очень спокойно ответила Ниафер, – кто бы лил слезы над могилой Мануэля. Лишь мы одни помним его.

– Верно, – сказала Алианора. И вообще без какой-либо причины она слегка улыбнулась. – К тому же о нем теперь так часто слышишь.

– Мир научился ценить моего мужа, – согласилась Ниафер. Она не всецело одобряла улыбку госпожи Алианоры.

Тут Королева сказала:

– Он был весьма славным юношей. И я не отрицаю, что когда-то он меня очень сильно взволновал. Но при всем при том, моя милая, об этом чуде света написаны поэмы и исторические труды, его увековечивают статуи и раки, и из простого приличия его приходится вспоминать!

– Я уверена, что совершенно не понимаю вас, госпожа Алианора. – И Ниафер взглянула без всякой любви на Английскую королеву, которая в стародавние времена находилась в столь прискорбной близости с доном Мануэлем.

Но Алианора продолжила своим вызывающе приятным голосом:

– Нет, вы не поняли шутки. Вы неправильно оцениваете работу своих рук и своего воображения. Но эта легенда, которую главным образом вы, опираясь на тщеславие и глупость Пуактесма, тихо и неустанно лелеяли все эти годы, распространилась по всему известному человеку миру. Наш Мануэль со своей храбростью, мудростью и другими совершенствами встал вровень с Гектором, Артуром и Шарлеманем. Наш Мануэль должен вновь прийти во всей своей прежней славе! И я, помнящая Мануэля совершенно отчетливо, – и не отрицаю, что у него по моей доброй воле оказались преемники, – говоря вполне откровенно, моя милая, нахожу эти представления довольно-таки чудными.

На такие речи Ниафер ответила достаточно резко:

– Я не вижу никакой причины, по которой вы говорите о моем муже как о «нашем» Мануэле.

– Моя милая, я уверена, что он превосходно позаботился о том, чтобы вы никогда ничего подобного не узнали. Но все это закончилось давным-давно. И нам с вами нет нужды ссориться из-за парня, получавшего удовольствие как с нами, так и с королевой Фрайдис, и еще, никто не знает, с каким множеством женщин, который, надо отдать ему должное, доставлял каждой партнерше добрую половину удовольствия.

На нестареющую миловидную Алианору был брошен возмущенный взгляд.

– Не думаю, сударыня, что следует намекать на такие легкомысленные предметы здесь, у его могилы.

– Хотя, в конце-то концов, – заявила Алианора, – он же здесь не похоронен. У вас, мечтательных пуактесмских хвастунов, не было даже трупа, когда вы начали создавать свою красивую легенду. Нет, все в целом – чистая выдумка. И легенда очень точно символизируется этим величественным надгробием, под которым ничего нет.

– Хотя, если б Мануэль поистине был похоронен здесь, что бы сему миру дала эта холодная могила? – спросила Фрайдис. Ибо Ниафер увидела, что поблизости также находится и Фрайдис. Эта Фрайдис была

ведьмой, с чьего молчаливого согласия дон Мануэль в стародавние времена сотворил отвратительные извращения и значительный скандал. – Никто этого не знает, – продолжила Фрайдис. – Даже мы, утверждающие, что любили Спасителя Мануэля в его смертной жизни, ничего не знаем о Мануэле. Что за существо жило внутри этой косоглазой, высокой, сильной оболочки, дарившей нам ласки? Я частенько об этом задумываюсь.

– Моя милая, – сказала Алианора, – неужели вы действительно думаете, что это имеет особое значение? Уверена, что мы в свое время никогда не задавались этим вопросом, поскольку, по совести говоря, для общения этой оболочки хватало. Да, можете говорить о Мануэле что угодно, но в нашем узком кругу можно признать тот факт, что в некоторых отношениях мы с вами знали его просто чудесно.

Именно в этот момент пожилая Английская королева взглянула на сияющую статую человека, которого эти три женщины так по-разному любили. Мануэль возвышался над ними, ослепительно сверкая в лучах майского солнца, – спокойный, неизменно героический, в расцвете сил, давным-давно попользовавшийся и бросивший своих сожительниц. И казалось, он рассматривает какие-то возвышенные материи, несказанно далекие от их земных жизней и понимания бренными человеческими умами. Но морщинистая жизнерадостная Алианора с любовью и отчасти с насмешкой улыбнулась этому величественному Спасителю.

– Вы меня поняли, – сказала Алианора, – а я вас. Но мы говорили не об этом.

– А я говорю, что никто не понимал Мануэля, – ответила Фрайдис. – Я говорю: как странно, что мы троим должны продолжать жизнь Мануэля и истинную природу существа, жившего внутри этой оболочки, и что мы троим должны все еще оставаться в неведении относительно того, что мы приносим грядущим временам. Ибо Мануэль уже вернулся, и он будет и дальше возвращаться снова и снова, ничего не спасая и без всяких чудес...

Алианора заинтересовалась словами Фрайдис.

– Но объясните же, моя дорогая...

– Умерший Мануэль снова живет в вашем высоком косоглазом сыне...

– Да... и только представьте себе, милая Фрайдис, на какие мысли это наводит мать, учитывая своеобразные представления Мануэля о браке...

– ...И в четырех детях, которых родила ему Ниафер, – продолжила Фрайдис, – и в детях их детей возобновится жизнь нашего Мануэля, а после этого – в их внуках. И жизнь Мануэля и истинная природа Мануэля будут вот так продолжаться во множестве тел, пока люди глупо ведут себя днем и порочно ночью. И в образах, которые я помогла ему создать и одушевить огнем Ауделы, в них тоже, когда они будут отправлены жить среди людей, – по моей прихоти и не более благоразумно, чем уже живут двое моих старших сыновей, Слото-Виепус и Рембаут, – в них тоже будет жить наш Мануэль.

– Понятно, – сказала Алианора. – И признаю, что ваше объяснение его второго пришествия и его двухтысячного пришествия кажется мне весьма правдоподобным. Да, понятно. Мануэль уже вернулся. И он будет возвращаться вновь бесконечное количество раз.

Фрайдис же задумчиво спросила:

– И для чьих выгод и удовольствий?

– Моя дорогая Фрайдис! Не сомневайтесь, что в любом случае два человека получат немало удовольствия, приуговаривая для этого определенные условия. И подобное, – сказала Алианора, – как и все остальное, что может случиться с этими людьми, имеющими в себе склонности и природу Мануэля, будет лишь еще одним событием в «Сказании о Мануэле». Мы с вами начали разыгрывать не имеющий завершений набор комедий, в которых, главным действующим лицом будет Мануэль. Можно сказать – в нашем узком кругу, мои дорогие, – что мы сотрудничали с этим славным юношей в создании бесконечной серии Мануэлей без какой-либо гарантии, что этот поступок принесет добро или удовольствие кому-либо, – говорите что угодно, мои милые, – кроме разве какой-нибудь любвеобильной молодой женщины. Ибо мы не знаем точно, даже сейчас, кем был этот Мануэль и в качестве кого, благодаря нашему сотрудничеству, будет жить дальше. Да, теперь я поняла вашу мысль, моя милая Фрайдис. И она

действительно любопытна.

Однако Алианора вновь улыбнулась статуе Мануэля, словно между ними существовала какая-то тайна. А у Ниафер больше не хватило терпения переносить эту плотоядную и порочную старую шлюху.

– Весь мир знает, – с достоинством сказала Ниафер, – кем был мой муж, ибо мой Мануэль известен во всех христианских странах.

– Да, – согласилась Алианора, – он известен как образец всех христианских добродетелей и как Спаситель, чье возвращение восстановит счастье и славу его народа. И с этой шуткой, моя милая Ниафер, я поздравляла вас пару минут назад.

– Он известен своей верностью, отвагой и мудростью, – сказала Фрайдис. – Я часто слышу об этом. А вспоминаю высокого испуганного идиота, который предал меня и которого в самом конце я пощадила из чистого сострадания к его никчемности. И все же, я щажу, сохраняю и лелею его жизнь в своих детях, поскольку несомненно, что женская глупость никогда не умрет.

– Тем не менее я знаю, как воспользоваться женской глупостью, – сказал Горвендил, ибо теперь госпожа Ниафер поняла, что этот странный рыжеволосый Горвендил также стоит у могилы ее мужа, – и детским лепетом, и нежеланием людей встречаться лицом к лицу со Вселенной, опираясь лишь на собственные силы.

Затем Горвендил посмотрел на Ниафер со своей юношеской, несколько кривоватой улыбкой. И Горвендил сказал:

– Получается так, что Сказание о Мануэле и сказания обо всех властителях Серебряного Жеребца преобразованы глупостью и фальшивым оптимизмом человечества. И эти сказания теперь во всем согласуются с тем наиболее важным романом, что оберегает нас от безумия. Ибо именно так я и сказал много лет тому назад одному из этих забавных обеленных и облагороженных мошенников. Все живущие, все, кто волей-неволей бродит по этому миру, словно потерявшиеся, заблудившиеся дети, защитник которых еще не пришел, имеют жизненно важную потребность верить в эту поддерживающую их легенду о Спасителе и о власти Спасителя, способной сделать служащих ему справедливыми и совершенными.

– А вы еще худший мошенник! – воскликнула госпожа Ниафер. – Вы такой же негодяй, как и эти женщины. Но я не стану слушать никого из вас, как и ваши ревнивые и гнусные богохульства!..

Тут госпожа Ниафер проснулась, обнаружив, что находится у великой могилы одна. Но приближались чьи-то реальные шаги, и они оказались шагами человека более желанного для нее, чем этот ухмыляющийся Горвендил или эти наглые и подлые женщины, которых видела во сне госпожа Ниафер.

Глава LXVIII

Практичная Радегонда

Ибо в этот момент к госпоже Ниафер приближался Юрген, сын Котта, пришедший к могиле Мануэля по небольшому профессиональному делу. Юрген – теперь уже преображенный безжалостными возрастными ухудшениями и живший в бурном браке с дочерью Нинзияна (которую родила жена состоятельного Петтипа) – со времени женитьбы влил новую жизнь и свежие связи в дело его номинального тестя и сегодня являлся ведущим ростовщиком Пуактесма. Вполне естественно, что именно к Юргену обратилась жена графа Эммерика в эти тяжелые времена, последовавшие за долгой и опустошительной войной с Можы д'Эгремоном.

Графиня посмотрела на гробницу Мануэля, как она выразилась, по-настоящему практичным взглядом. Гробница была великолепна и во всех отношениях делала честь семье великого героя. И все же, как указала Радегонда мужу, эта статуя Мануэля украшена десятками красивейших самоцветов, которые, по сути, пропадают зря. Если бы – конечно, не предавая такое улучшение вульгарной гласности – эти драгоценности можно было бы заменить кусочками стекла подходящего цвета, зрительное воздействие осталось бы тем же самым, гробница была бы столь же красивой, как и всегда, и никто бы не был мудрее графа Эммерика с Радегондой, которые посредством этого дельца стали бы немного богаче.

Эммерик ответил с соответствующим негодованием, что вот так ограбить могилу его отца-героя – все равно, что опорочить его великое имя.

Но, с другой стороны, именно Эммерик, как сам он при этом узнал, опорочил память отца-героя, предположив, хотя бы на мгновение, что блаженный покойник волнуется из-за такой тщеты, как рубины и сапфиры, и хочет, чтобы его невинные внуки умирали с голоду в канаве. А в остальном, может, он лучше оценит эту пачку векселей и не будет сводить всех с ума своим высокомерным вздором.

Эммерик посмотрел, мельком и с нескрываемым отвращением, на не такую уж большую стопку неоплаченных счетов, с которой он уже давно свыкся.

– Тем не менее, – сказал Эммерик, – это был бы мерзкий поступок, и если б вся история вылезла наружу...

– Она не вылезет, мой милый, – ответила жена, – ибо мы предоставим все сделать Юргену, который является воплощением осторожности.

– ...И я не могу позволить себе участие в этом деле, – добродетельно сказал Эммерик.

– Тебе ни в чем не нужно принимать участия, – уверила его жена, – а лишь принять добрую половину вырученной суммы.

Так что Радегонда послала за ростовщиком Юргеном и попросила его оценить драгоценности на статуе донна Мануэля и назвать их приемлемую цену.

Вот так Юрген оказался у могилы Мануэля, потревожив сон госпожи Ниафер.

Глава LXIX

Расчетливость Юргена

– Ты, – начала трясущаяся старушка – как показалось Юргену, достаточно истерично, – ты был последний, кто его видел. Очень странно, что именно ты должен теперь прийти и положить конец моему сну. Я воспринимаю твой приход, жулик, как знак.

Затем госпожа Ниафер начала рассказывать ему про свой сон. А Юрген слушал с терпением и даже уважением, которое, похоже, всегда вызывало в нем напряженное состояние очень старых людей.

Юрген был в превосходных отношениях с госпожой Ниафер, к которой, по библейским причинам, он привык обращаться как к Центуриону.

– Вы говорите одному: «Пойди», и он идет; а другому: «Приди», и он приходит, – объяснял Юрген. – Короче, вы самая что ни на есть ужасная особа. Но, когда вы говорите мне: «Пойди», я не повинуюсь вам, сударыня, поскольку вы к тому же просто душка.

Ниафер рассматривала подобное поведение как явную дерзость, однако оно ей весьма нравилось.

И она рассказала Юргену про свой сон... И госпожа Ниафер допустила, что, возможно, сон слегка неверно представлял этих жалких женщин, поскольку хорошо известно, что эта змеиноглазая Фрайдис, получив по заслугам от друидов и сатириков, должным образом и с позором заточена в Антан, тогда как эта лицемерка Алианора являлась сейчас монахиней в Амбресбери. Но во сне госпожи Ниафер эти шлюхи оказались в равной мере освободившимися из заключения как в бесчестии, так и в обители. Они, казалось, были заключены в намного более страшную темницу скептицизма...

– Сударыня, – сказал Юрген по окончании ее рассказа, – какая, в сущности, нужда беспокоиться из-за такого несерьезного сновидения? У меня самого всего лишь в прошлом месяце, в канун Вальпургиевой ночи, был намного более пространный и волнующий сон. И он тоже ни к чему не привел.

Графиня ответила:

– Я старею. А с возрастом человек менее уверен в чем бы то ни было. О, я знаю достаточно хорошо, что эти похотливые, самодовольные шлюхи в своей клевете были глубоко неправы! И все же, Юрген, все же, дорогой мой жулик, некий таинственный шепоток говорит мне, что время намерено все у меня отнять. Я теперь одинокое, бессильное, старое существо, но я по-прежнему жена Мануэля. У меня остается только это: быть единственной любовью и горделивой женой великого Спасителя Пуактесма. Теперь же, в самом конце жизни, шепот говорит мне, что время должно отнять также и это. Мой Мануэль, подсказывает мне шепот, не был великолепно других людей; он не сотворил никаких чудес, и не будет никакого второго пришествия Спасителя. Шепот говорит мне, что я всегда это знала и что все эти годы я лгала. По-моему, шепот несет вздор. И однако, с возрастом, Юрген, с возрастом и в ожидающем всех одиночестве преклонного возраста человек становится менее уверен в чем бы то ни было.

– Сударыня, – сказал Юрген с самым рассудительным видом, – давайте рассмотрим этот действительно очень интересный вопрос с наихудшей из возможных сторон. Давайте – с надлежащими извинениями, принесенными его великой тени, и просто для более быстрого разгрома клеветников – предположим, что дон Мануэль, в сущности, ничем не был замечателен. Давайте вообразим, что безумный культ Спасителя, распространившийся по всей нашей стране, обязан своим существованием преувеличению и непониманию и зародился, в сущности, на пустом месте. Остается тем не менее фактом, что этот героический, благородный и совершенный Спаситель – существовал он в действительности или нет – теперь почитается, и, в разумных пределах и в рамках человеческих слабостей, его достоинствам повсюду, по крайней мере иногда, стремятся подражать. Однако его совершенство пока не оказалось заразным: он никого нигде не сделал абсолютно безупречным. Но тем не менее – в определенных рамках, в неизбежных пределах – люди становятся несравненно лучше благодаря примеру и учению этого Мануэля...

– Люди также стали счастливее, Юрген, благодаря предсказанию о втором пришествии, которое он

произнес в твоём присутствии в последнюю ночь своей жизни и которое ты принес с Морвена.

Юрген кашлянул.

– Это всегда большое удовольствие – посильным образом содействовать благоденствию своих сородичей. Но – вновь подхватывая непосредственную нить моих рассуждений, – если этот высший и самый добродетельный пример в действительности не был подан доном Мануэлем из-за давления семейных обстоятельств и состояния дел, если этот пример в действительности всецело ваша личная выдумка, тогда вы, о ужасный Центурион, могли бы стать одним из самых способных художников-творцов. И я заявляю, как поэт в отставке, что такой возможности вы должны не стыдиться, а лишь ею гордиться и благодарить за нее Господа.

– Не говорите мне своей лживой ерунды, молодой человек! Если б моя жизнь была посвящена распространению историй о некоем Мануэле, который никогда не жил!..

Ее слабые старые сморщенные руки беспомощно дрожали в своего рода тщетном неистовстве. Она всплеснула ими, при этом каждая ладонь, казалось, ловит другую. А Юрген ответил:

– Я напуган. Я должным образом уstraшен вашей раздражительностью и польщен вашим выбором прилагательного. Тем не менее, рискну заметить, что я, дорогой Центурион, встречал в писаниях какого-то многоученного автора, чье имя сейчас вылетело у меня из головы, поразительное утверждение, причем претендующее на истинность, – утверждение, которое, на самом деле, было любимо моим безгрешным отцом: что дерево можно всегда оценить по плодам. И дети донна Мануэля, таким образом, потрясая доказывают это утверждение. Граф Эммерик, – тут Юрген опять кашлянул, – граф Эммерик, известный своим радушием...

– Эммерик, – сказала госпожа Ниафер, – был бы достаточно хорош, если бы его всю дорогу не водила за нос жена.

Юрген пожал плечами и развел руками, чтобы выказать нежелание принимать участие в обсуждении старушкой его теперешнего клиента – госпожи Радегонды. Но Юрген не стал оспаривать ее утверждение.

– Госпожа Мелицента, – рассудительно продолжил Юрген, – разожгла довольно разрушительные войны за морем точно так же, как госпожа Эттарра явилась причиной еще одной долгой войны у себя дома, и в этих войнах многие господа завоевали большие почести, а сотни более смиренных граждан получили возможность достичь вечного блаженства, соответствующего их более низкому званию. Подобные войны пробуждают благородное чувство патриотизма, они подвигают людей на самопожертвование, и они, как свидетельствуют мои гроссбухи, чрезвычайно хорошо сказываются на делах. Что же касается госпожи Доротеи, то пока она не возбудила ни славных общенародных человекоубийств, ни поджогов, но она облагораживает и делает более приятным существование половины пуктесмских дворян...

– И что же, жулик, ты имеешь в виду?

– Я намекаю на орган зрения без каких-либо анатомических экскурсов. Я имею в виду, что созерцание столь совершенной красоты делает жизнь более приятной. Более того, госпожа Доротея пробудила к жизни прекрасную поэму, не умирающие жажду и мечту, и смех, что издевается слишком безжалостно над своим источником...

Тут голос у Юргена изменился, и старушка посмотрела на него более пристально. У Ниафер была превосходная память. Она, у которой не было заблуждений в отношении своей дочери, в совершенстве помнила ослепленную страстью увлечение Юргена. И Ниафер на миг задумалась о неизлечимой романтичности мужчин.

Но Ниафер лишь сказала:

– Я никогда не слыхала о такой поэме.

И Юрген завершил заклинание общепринятым третьим покашливанием.

– Я ссылаюсь на эпическую поэму, до сих пор остающуюся неопубликованной. Это вариации на темы легенды о Граале, сударыня, но поэма имеет отношение к поиску несколько иного сосуда. Однако в

отношении других детей дона Мануэля, – ваши мнения касательно матерей которых, мой обожаемый Центурион, в равной мере делают честь и вашей устойчивой нравственности, и вашему мастерству в искусстве страстной прозы – мы имеем мессира Рембо – очень известного и уважаемого поэта, мы имеем Слото-Виепуса, ставшего богом Филистии. Поэты, конечно же, могут родиться в любой семье, и винить тут некого, тогда как на бога, сударыня, как выражаются риторы, рукой не махнешь. Более того, мы имеем Эдварда Длинного, одного из самых любимых всеми монархов, которых когда-либо знала Англия, поскольку он так сжато воплощает в своей крупной особе все типичные недостатки и изъяны своего народа. Таким образом, сударыня, мы можем оценить, что дети тела дона Мануэля производят весьма достойное впечатление.

– В сказанном тобой что-то есть, – признала госпожа Ниафер. – Однако что это за вздор насчет «детей его тела»? Разве у мужчин есть какие-то другие приспособления, неизвестные их женам, с помощью которых можно производить детей?

Юрген просиял. Было очевидно, что ему в голову явилась весьма привлекательная идея.

– Существует совершенно иное отцовство, достигаемое без всякой необходимости тревожить и волновать какую-либо женщину. Поэтому для полного раскрытия наших доводов мы должны рассмотреть также духовных детей дона Мануэля, тех властителей, что были членами Братства Серебряного Жеребца и чей героизм сформирован в точном соответствии его прекрасному образцу.

Ниафер, слегка смущенная, ответила:

– Они были замечательными и благочестивыми людьми, которые посланы во все края земли в качестве апостолов Спасителя и которые вновь вернутся вместе с Мануэлем... Но расскажи, что ты имеешь в виду!

– Я имею в виду, что это были грубые и безбожные вояки, которых пример дона Мануэля сделал несравненными героями. Было время, сударыня, – время, к которому мы теперь можем при должном умонастроении относиться без какого-либо неуважения, – когда их наслаждение от битвы было так же сильно, как и неопределенны их моральные принципы; время, когда они насмехались над святынями и когда их целомудренность оставляла желать большего.

Графиня кивнула.

– Я помню то время. Недоброе время, без следа добропорядочности. И я так и говорила с самого начала.

– Однако посмотрите, что пример и учение дона Мануэля сделали в итоге с его спутниками жизни! Посмотрите на святые деяния Гольмендиса и Анавальта и на то, как Нинзиян долгое время являлся здесь оплотом всей религии!..

– Нинзиян – святой человек, и даже среди апостолов Мануэля он, вероятно, был самым преданным. Тем не менее...

Но теперь Юрген стал более обстоятельным.

– Посмотрите, как всего лишь четырнадцать лет тому назад Донандр погиб жертвой конфликта с язычниками норманнами, доказав потерей земной жизни ложность и порочность их предрассудков, когда на виду у двух армий Донандра вознесли на небо семь ангелов в тот самый миг, когда Дьявол утащил его противника на Север!

– Это чудо засвидетельствовано. Однако...

– Посмотрите, как святой Гонфаль также погиб мучеником среди нечестивцев Инис-Дахута после целомудренного сопротивления непристойным атакам их царицы! Этот пример, сударыня, должен особо взволновать вас, поскольку вам, брюнеткам, сопротивляться нелегко.

– Да ну тебя, жулик! Мой взгляд остается еще достаточно острым, чтобы видеть, что волосы у меня белые.

– Затем также благочестивый Мирамон Ллуагор, что хорошо известно, обратил в истинную веру сотни язычников вокруг Врейдекса великим чудом, которое он сотворил, когда Кощей Бессмертный, и Герцог

Хаоса Тупан, и Владыка Стран Слез Молох, и Начальник Тайной Полиции Сатаны Нергал и еще несколько тысяч других представителей сил зла, чьи имена и inferнальные звания выскочили в данный миг у меня из головы, вылетели роem из Ада в виде гигантских пчел.

– Известно, что такой благосклонности Небес были удостоены вера и молитвы Мирамона. В самом деле, Нинзиян присутствовал там и рассказал мне об этих жутких насекомых. Каждое размером с корову, но язык у них намного страшнее. Тем не менее...

Но Юргена уже понесло.

– Затем Гуврич...– указал он. – Гуврич Пердигонский, в котором старая закваска сохранялась дольше, чем в других, так что какое-то время он совершал несерьезные проступки, как говорится, на стезе гордыни и себялюбия... Гуврич полностью избавился от этих издержек после знаменитого путешествия в страну Востока, чтобы без посторонней помощи одолеть выдающуюся ересь пагубного и зловещего Силана. Никогда на земле не было более доброго, более благородного и более любимого всеми святого, чем Гуврич после изгнания духа из этого языческого ересиарха, от которого остался лишь хребет. И таким дорогой гетман оставался до славного часа своей ангельской смерти.

– Верно. Я вспоминаю эту перемену в Гувриче, и она была весьма поучительна.

– Вспомните также, сударыня, как почтенный Керин отправился под землю учить истине о Спасителе в глубочайших твердых ошибках и заблуждений! И как он там опроверг одно за другим легкомысленные научные воззрения надзирателей Ада – с терпением, усердием и обстоятельностью, удивительными даже в апостоле – в споре, длившемся двадцать лет!

– Тоже верно. Кстати, его собственная жена рассказывала мне об этом. Тем не менее...

Но Юрген по-прежнему говорил.

– И наконец, сударыня, мой любимый отец Котт, как общеизвестно, отправился евангелистом к неверующим Толлана с темной кожей и черными душами. Он показал им преимущества цивилизации и истинной религии. Он научил их прикрывать свою дику наготу. И, подобно святому Гонфалю, Котт смирял как возбудитель плотского желания, так и свой уд – не один, а множество раз, – когда Котт искушался настолько извращенной принцессой, что одна мысль о ней заликает краской мои щеки.

Графиня задумчиво сказала:

– Ты и твои щеки... Однако продолжай!

Изумленный Юрген тряхнул прилизанной головой.

– Вы требуете невозможного. На остальных бесчисленных благочестивых подвигах Котта я, будучи его всецело недостойным сыном, не могу останавливаться, чтоб не показаться тщеславным. Это было бы весьма недостойно. Ибо скромность моего отца такова, сударыня, что, должен вам сказать, даже со мной, своим собственным сыном, он никогда не говорил на эти темы. Скромность моего отца такова, что – как недавно открылось в видении одному набожному человеку – даже сейчас мой отец считает себя недостойным небесного блаженства, даже сейчас совесть тревожит его в отношении пустячных проступков прежних, греховных дней и даже сейчас он решает оставаться в том месте, которое, образно выражаясь, можно определить как наименее удобные условия вечной жизни.

– У него, без сомнения, есть привилегия следовать своему выбору. Ибо его священные деяния удостоверены. Тем не менее...

Тут госпожа Ниафер на какое-то время задумалась. Эти факты несомненно относились к властителям Серебряного Жеребца, которых она сама помнила по тем далеким дням своей юности как сравнительно несовершеннолетних людей. Деяния апостолов являлись фактами, записанными в наиболее уважаемых летописях; эти факты были известны даже детям; эти факты теперь, по прошествии времени, наряду с другими назидательными фактами из жизней безгрешных властителей Серебряного Жеребца заняли надлежащие ниши в качестве составных частей великой легенды о Мануэле. И поскольку она высоко ценила эти факты, старая графиня прониклась силой Юргеновых доводов...

– Да, – наконец признала Ниафер, – да, сказанное тобой верно. У этих святых людей имелись

недостатки, когда они впервые были избраны моим мужем в качестве его спутников. Но благодаря близким отношениям с доном Мануэлем и силе его примера они очистились от этих недостатков, они сделали справедливыми и совершенными. А после исчезновения Спасителя они без страха и упрека странствовали по свету, и являлись его апостолами, и несли ту веру, которой его жизнь научила их, во всех направлениях, по всей земле. Эти факты занесены во все исторические книги.

– Так вы же все отлично понимаете, милый Центурион! Могу лишь повторить, что, согласно любимой аксиоме моего почтенного отца, о каждом дереве нужно судить по плодам. Подвиги Братства Серебряного Жеребца я расцениваю в качестве первых плодов культа Спасителя. Люди с достаточно сомнительными принципами, которыми руководствовались эти апостолы в юношеские годы, – и я это должным образом истолковываю – такие люди чудесным образом сделали справедливыми и совершенными! Из этого я делаю вывод, что мы можем объявить культ Спасителя Мануэля божественно вдохновленным и во всех отношениях восхитительным, поскольку он чудесным образом производит из сырой материи человеческой природы подобных апостолов. Этот культ, сударыня, уже прошел догматическую проверку в святых жизнях и возвышенных кончинах властителей Серебряного Жеребца: культ работает.

– Кроме того, – сказала Ниафер с присущим женщинам эллипсисом и их пристрастием к чему-то более конкретному, – существует последняя картина вхождения моего мужа во славу и страшного причастия, свидетелем которой ты, еще ребенком, стал на Верхнем Морвене. Я никогда не могла понять, почему тогда не присутствовало ни одного ангела, тогда как за Донандром прилетело целых семь. Даже при этом ты был свидетелем священного и сверхъестественного происшествия, которым небеса никогда бы не удостоили кончину рядового человека.

– Воображение ребенка... – начал Юрген, но осекся и лишь добавил: – Несомненно, сударыня, ваша логика сильна, а ваши доводы неуязвимы.

– В любом случае... – Тут Ниафер внезапно умолкла.

Но через некоторое время она продолжила говорить, и ее увядшее лицо казалось лицом человека, расстроенного и сбитого с толку, как и у старого Котта под конец жизни.

– В любом случае, эти шлюхи мне всего лишь приснились. И, в любом случае, наступило время обеда, – сказала госпожа Ниафер. – А люди в сем мире должны видеть сны и обедать, а когда мы уйдем из него, мы должны принять то, что найдем в мире ином. Вот и все. У меня нет воображения ребенка. Я стара. А когда стареешь, лучше ничего не воображать. Старикам лучше не видеть никаких снов. Старикам лучше не думать. Для стариков хорошо только одно: то, что избавляет их от одиночества, дурных снов и обилия дум.

Ниафер не без труда поднялась. И сгорбленная, хромая, очень старая вдовствующая графиня Пуактесмская медленно и задумчиво пошла прочь от Юргена.

Глава LXX

Недоумение в самом конце

Оставшись один, Юрген влез на великое надгробие. Он стоял теперь на нем, держась за шею коня, на котором восседало скульптурное изображение Мануэля. Каменное лицо, обращенное вверх Юргена куда-то вдаль, вблизи оказалось загаженным птицами и гротескно грубым, а пустые глазные яблоки придавали ему отвратительное выражение полнейшего идиотизма. Но Юрген находился тут для оценки не лица, а украшений возвышающегося над ним героя, и, по сути, Юрген смотрел лишь на самоцветы, покрывающие знаменитую скульптуру.

Тут Юрген без какого-либо глубокого удивления присвистнул. Для его опытного глаза стало достаточно очевидно, что самоцветы, которыми госпожа Ниафер чудесным образом украсила статую своего мужа, были все до единого – и, по-видимому, изначально – блестящими стеклышками разных цветов. Стало быть, графиню Радегонду много лет назад опередила в расчетливости и практическом взгляде на это надгробие графиня, построившая его.

Но Юрген почему-то не был этим сильно удивлен. И единственным словесным выплеском явилось произнесение одного из его любимых выражений. Он сказал: – Ох, уж эти женщины!

После чего он слез вниз с осторожностью, подобающей человеку сорока с лишним лет. Он пригладил седые волосы, глядя вверх с характерной смесью лукавства и сожаления. Теперь, видимый с надлежащего расстояния, Мануэль Пуактесмский вновь казался блистательным и во всех отношениях величественным. Он сидел на коне, чопорный, самоуверенный и благородный, чтобы, похоже, вечно охранять спасенную им страну, в которую, как говорили, он должен вернуться...

Юрген постоял так какое-то время, рассматривая огромное надгробие – пустое внутри, а снаружи украшенное никчемной блестящей мишурой, но которое все еще оставалось самым священным местом и, точно как и указывал Юрген, ракой действительно вдохновляющей героический культ Спасителя...

Юрген раскрыл было рот. А потом его закрыл.

Ибо Юрген вспомнил, что всего лишь в прошлом месяце оказался вовлеченным в некое волнующее переживание, высказав экспромтом похвалу Дьяволу. Так что в отношении Спасителя Юрген решил, так или иначе, не принимать на себя рискованных обязательств. Пожилому ростовщику казалось более мудрым держаться подальше от всевозможных потусторонних дел... Даже при этом карнавальное шествие мыслей искушало его поиграть с ними, поскольку об этом парадоксальном надгробии можно было сказать, с известной осторожностью, несметное количество прекрасных слов. Эти мишурные безделушки на взгляд рассудительного человека были достойны уважения не из-за своего блеска, а из-за вызванных ими деяний. И эта пустота являлась священной благодаря вере, которую вкладывали в нее люди. И то, что эта блистающая бессодержательность могла, по сути дела, творить чудеса, было теперь полностью подтверждено. Ибо она заставила Юргена замолчать.

Нет. Никогда нельзя, пожав плечами, отделаться от мыслей об этом надгробии как, в целом, от зловредной подделки, распространяющей лишь глупость, нетерпимость и преследование слепыми близорукими. По сути, эта сторона дела была относительно неважна и при соблюдении соответствующей осторожности никогда никого не тревожила. А в сорок с хвостиком становишься осторожным.

Между тем было известно, что эта сверкающая штукавина к тому же является породительницей такой благотворительности, воздержанности, храбрости и самоотречения – и такого странного, такого тревожаще непостижимого удовлетворения ее почитателей, – что она почему-то пугала Юргена. Ибо Юрген лишь минуту назад трогал руками, вероятно чересчур интимно, этот действительно опасный источник всех возвышенных и прекрасных мерил, которыми пожилой ростовщик привык непритворно восхищаться с подспудной мыслью относительно ужаса их достижения. Он ощущал, что было бы чертовски ужасно, если бы в деловой жизни он обнаружил такие взгляды на противоположной стороне своего прилавка.

С эстетической точки зрения, конечно же, доставляло наслаждение рассматривать такие превосходные образчики силы и святости Спасителя в этих великолепных властителях Серебряного

Жеребца, о которых Юрген только что говорил. Это были облагораживающие и витиеватые размышления о том, что человеческая природа как-то поднялась до таких высот; что простые смертные благодаря вере в великого Спасителя и контакту с ним очистились от всех недостатков и плотских слабостей и жили безупречно, и совершали благотворные чудеса, когда такая линия поведения казалась необходимой. Юрген подумал, что творить чудеса, наверно, очень забавно. Во всяком случае, весьма приятно просто думать о героях и святых минувших дней и завидовать их жизненной доле и гарантированному достойному месту в истории.

Юрген, к примеру, думал о мягком и великодушном старом Гувриче, безрассудно делящемся земным богатством со всеми нуждающимися; и о стоящем на коленях Мирамоне, вокруг которого роятся семь тысяч жутких пчел, издающих inferнальные угрозы, но бессильных потревожить спокойного, распевającego псалмы и не подверженного их укусам святого. Юрген думал о Керине, так отважно противостоящем отвратительным когортам любящих поспорить злодеев и умиряющем их так называемую науку убедительными библейскими цитатами; и о благородном, добродетельном Гонфале, крепко держащем одной рукой свою ночную рубашку, а другой отталкивающей влюбленную в него – и к тому же, говорят, очень миловидную – царицу Чудесных Островов Морвишь, когда та атакует его целомудренность. Такие картины вполне достойны увековечения в истории. И Юрген рассматривал их с теплым, доставляющим удовольствие трепетом чисто эстетического свойства.

Ибо, опираясь на практическую точку зрения, Юрген смутно ощущал, что неудобно быть столь совершенным и возвышенным. Или лучше выразить это так: вероятно, это не те условия жизни, которые действительно почитаемый человек, обладающий лавкой, женой и другими обязательствами, мог бы сознательно себе пожелать. О любом, если можно так выразиться, беззащитном главе семьи, которого всемогущий Спаситель явно и бесспорно выбрал для героической и святой апостольской жизни, конечно же, был бы совершенно другой разговор...

И Юрген гадал, что же в действительности видел и слышал на Верхнем Морвене ребенок, которым когда-то был Юрген. Сейчас он не был уверен во всем, о чем рассказывал: фантазии ребенка так безответственны, так богато приукрашены всяческими добавлениями... Однако свидетельство этого ребенка, похоже, сделало больше, чем что-либо иное, для установления верховенства дона Мануэля над всеми людьми, которых когда-либо знал Пуактесм. На самом деле, если принять во внимание все благоприятствующие влияния, весь культ возвращающегося Спасителя начался со свидетельства этого ребенка. И, вероятно, было достаточно естественным (в этом поистине любопытном мире), что Юрген сейчас оставался единственным человеком на свете, который чуточку сомневался в свидетельстве этого ребенка...

Как бы то ни было, мальчик Юрген принес когда-то с Морвена очень полезное и вдохновляющее предсказание, которое подняло настроение людей в этом поистине любопытном мире. А жизнерадостность – явная выгода. Причем, Юрген заключил, что тот факт, что ничто нигде не дает на нее права, лишь делает из этой жизнерадостности еще более явную выгоду...

Кроме того, вполне могло существовать нечто, на чем все это основывалось. На самом деле, здесь из соображений скромности возникал вопрос, мог ли Юрген – в том нежном возрасте и задолго до полного созревания его душевных и телесных сил – беспардонно выдумать от начала до конца нечто настолько великолепное и далекоидущее. И этот вопрос он скромно оставлял без ответа. Между тем (несмотря на все это недоумение) было несомненно, что Пуактесм, как и остальной Христианский мир, заимел свое в целом удовлетворительное вероисповедание и свою весьма благотворную легенду.

Компендиум главных исторических событий

(сокращенный текст выкладок Бюльга)

1239 Спаситель Мануэль отбывает из Пуактесма в сентябре этого года. Последняя осада предпринята Братством Серебряного Жеребца в день Святого Климента Римского. Ниафер названа регентом вместо своего мужа вплоть до возвращения дона Мануэля либо до исполнения двадцати одного года их сыну Эммерику.

1240 Гонфаль попадает на Чудесные Острова. Котт отправляется в Сорчу и далее на Запад. Керин исчезает в мае этого года. Мирамон Ллуагор покидает Пуактесм.

1243 Казнь Гонфаля приблизительно в день Тибуртия и Валериана.

1244 Сверхъестественное рождение Фопа де Нуантеля.

1245 Мирамон Ллуагор освобождает пчел Тупана, но не извлекает из этого большой выгоды. Котт попадает в заточение на Ран-Райгане.

1247 Котт достигает Поручы и становится императором Толлана. Котт переносится обратно в Пуактесм.

1250 Смерть Мирамона Ллуагора. Побег отцеубийцы Деметрия в Анатолию.

1252 Святой Фердинанд достигает вечного блаженства. Анавальт отправляется в Эльфхейм и там погибает.

1253 Мученичество Орка и Горрига среди этиопов.

1254 Женитьба предполагаемого сына дона Мануэля принца Эдварда в возрасте пятнадцати лет на малолетней дочери Святого Фердинанда.

1255 Мелюзина накладывает чары на короля Гельмаса и переносит его двор на возвышенность Брунбелуа. Помолвка Мелиценты и короля Теодорета.

1256 Перион де ла Форэ под чужим именем появляется в Бельгарде. Юрген уезжает в Гатинэ. Доротея выходит замуж за сына Гуврича Михаила.

1257 Мелицента бежит из Пуактесма и попадает к Деметрию. Юрген развлекается с третьей женой видама де Суазкура.

1258 Окончание регентства госпожи Ниафер именем Мануэля с формальным вступлением на престол в июне этого года в день Святых Петра и Павла графа Эммерика IV.

1260 Изображение царицы Радегонды становится женщиной во плоти и кладет конец близости с Хольденом, начавшейся в Лакре-Кае в 1237 году. Граф Эммерик женится на Радегонде. Смерть Хольдена. Смерть Азры.

1261 Гуврич отправляется на Восток, чтобы встретиться с Силаном. Котт умирает во сне. Керин возвращается в Пуактесм после двадцати одного года, проведенного под землей.

1262 Рождение первого сына Эммерика. Нинзияна разоблачает его девятьсот восьмидесятая жена и посещает Люцифер.

1263 Похищение Эттарры и немедленное освобождение ее Гироном. Можи д'Эгремон поднимает мятеж. Донандр покидает Пуактесм и погибает в поединке с Палнатоки.

1265 Керина убивают разбойники. Продолжение мятежа Можи.

1268 Смерть Папы Римского Климента IV и последующее вступление на престол в декабре месяце Айрара де Монтора. Юрген посещает Шато-де-Пизанж и там знакомится с женой виконта.

1269 Рождение Флориана де Пизанжа.

1270 Гольмендис покидает Пуактесм и умирает в Африке. Назидательная кончина Гуврича. Юрген возвращается в Пуактесм и женится на Лизе – официально дочери старого ростовщика Петтипа. Граф

Эммерик не в ладах с Папой Римским.

1271 Вступление на папский престол Григория X. Продолжение бедственного мятежа Можи и поджог Бельгарда.

1272 Смерть Бальфиды. Исчезновение Нинзияна. Вступление предполагаемого сына дона Мануэля на английский престол.

1275 Перион и Мелицента возвращаются в Пуактесм. Конец мятежа Можи и приведение в исполнение справедливого смертного приговора. Эттарра выходит замуж за Гирона де Рока, который на следующий год становится преемником своего брата в качестве принца де Гатинэ.

1277 Юрген в канун Вальпургиевой ночи видит странный сон. Другой странный сон посещает Ниафер в день Святого Урбана. Смерть Ниафер в июне этого года.

1291 Алианора умирает в Амбресбери и захоранивается по частям: там же в Бенедиктинской обители и в Лондоне в Миноритском монастыре.

1300 Графа Эммерика убивает его племянник Раймондин де ла Форэ, который ищет убежища в пользующемся дурной славой Колумбьерском лесу и там женится на чародейке Мелюзине.

